



**В. Г.
КОРОЛЕНКО**



Владимир Галактионович Короленко

Художник Алымов

«Лодка колыхалась внизу, нос ее мне не был виден, и только на корме, в полосе света выделялась фигура рулевого, рослого, угрюмого человека в широкополой шляпе и шведской кожаной куртке, короткой и узкой. Я заметил энергичные черты, слегка тронутые оспой, и угрюмый взгляд глубоко сидевших глаз...»

Содержание

I.....	0005
II.....	0012
III.....	0024
IV.....	0034
V.....	0058
VI.....	0063
VII.....	0081
VIII.....	0097
IX.....	0109
X.....	0115
XI.....	0119
Примечания.....	0123

**Владимир Галактионович
Короленко
Художник Алымов
(Из рассказов о встречных
людях)**

Солнце уже село за синие вершины береговых гор, когда наш пароход, гулко шлепая колесами, прошел так называемые «Самарские ворота» и пошел Жигулями. Публика толпилась на правом борту, разглядывая в бинокли причудливый Царев-Курган, точно каравай хлеба, разлегшийся в широкой лощине. Вот и он остался позади, затягиваясь холодно-ватую вечернею мглою, и шум пароходных колес отдавался близким эхом от подступившей к самым бортам Соколовой горы.

«Стрела» бежала из всех сил против течения. В то время отчаянные гонки пароходов были на Волге самым обычным явлением. Поволжские газеты были полны негодующими описаниями всевозможных столкновений, поломок и аварий, а порой какой-нибудь особенно громкий взрыв котла, сопровождаемый человеческими жертвами, отдавался отголосками даже в столичной прессе. Но ничто не помогало. Пароходные расписания были составлены таким образом, что с каждой значительной пристани отваливало одновре-

менно по несколько пароходов. Стоило раздаться свистку на одной из пристаней, как тотчас же гудели другие, капитаны, угрюмо посматривая на соперников, торопили погрузку, пароход отваливал за пароходом, и дымок за дымком исчезал в речной дали, точно летящие вперегонку птицы. Все дело было в том, чтобы первому достигнуть следующей пристани, где уже нетерпеливо дожидаются толпы пассажиров, вглядываясь навстречу. Стоило показаться из-за извилистого яра первому дымку, первой мачте, первому флагу, лишь только первый торжествующий свисток прокатывался над безмолвной рекой, как уже на пристанях начиналось движение: публика сразу узнавала победителя и тянулась к одной пристани, на которой весело взвивался флаг, Все это было, пожалуй, довольно интересно и красиво со стороны, но на этой почве разыгрывались порой безобразные и даже трагические эпизоды. Случалось, что в пылу состязания противники кидались друг на друга, точно в морской баталии.

Теперь за нашей «Стрелой» гнался «Коршун». Оба парохода были неважные, и у обо-

их силы были почти равны, поэтому состязание имело характер особенно напряженный и неприятный. Команда была сосредоточенна и зла, капитан неприветлив, публика скучна и недовольна. «Коршун» то и дело наседали на нас, и перед каждым перекатом, где мы поневоле замедляли ход, его нос среди белой пены появлялся вплоть за нашей кормой. Тогда «Стрела» начинала «рыскать», загоразивая узкий фарватер, и капитан советовался с лоцманами: его тактика состояла в том, чтобы каким-нибудь способом «отжать» соперника на мель. Такие же христианские намерения до очевидности ясно обнаруживалась и в тактике противника. Порой капитаны вооружались рупорами и обменивались такими сочными и здоровыми непечатными приветствиями, что, казалось, вся пустынная река, сжатая с обеих сторон зелеными горами и темными ущельями, внезапно оживала. Как будто в каждой лощине – и вблизи и вдали, и вверх и вниз по течению – стояло по такому же капитану с рупором, и все они обстреливали узкое русло своими гулкими ругательствами.

Порой с какой-нибудь отмели или с встречного каравана отделялась лодочка и робко выбегала на русло. С лодочек махали картузами и платками, прося, очевидно, захватить пассажиров. Но пароход только отмахивался и летел дальше, сердито качая лодку разбежавшимся валом. Можно было видеть, как злополучные пассажиры повторяли ту же попытку и с таким же успехом назад: «Коршун» тоже проносился мимо, и лодочка опять сиротливо направлялась к берегу или к каравану барок, тянувшихся между пустынными берегами.

Наконец «Коршун» начал сдавать. Может быть, машинист был более осторожен, или публика более настойчиво грозила протоколом, но только «Коршун» отстал и долго шел, прижимаясь к крутояру, так что казалось, будто он бежит по самому берегу.

Правда, порой он отделялся от гор, выказывая намерение кинуться наперерез, и вообще держался настороже, карауля каждый промах противника, но все же расстояние между пароходами понемногу растягивалось, и напряжение гонки слабело.

На мачтах зажглись огни, так как день, видимо, угасал. По временам на длинных прямых плесах нам еще видно было солнце, висевшее в пылающем багровом облаке, насыщенном огнем и золотом. Но сзади нас догнажи холодные сумерки, быстро поглощавшие все краски угасающего дня; сумерки же выползали на реку из-за каждого уступа, из каждого ущелья, ютились в молчаливых расщелинах и долинах, спускались неуловимой для глаза сеткой сверху.

Река в этом месте удивительно молчалива и пустынна... Кой-где клочок тумана над болотом, кой-где дымок деревеньки, или новая труба затерявшегося в Жигулях алебастрового завода, кой-где рыбацкая лодка и костер на песке... И опять безлюдие, тишь, мерное колыхание реки, чуткое эхо, смена синих и зеленых теней, и какие-то неясные, неуловимые, но манящие и беспокоящие воспоминания, реющие в сумерках над великою рекою, колыбелью нашего русского романтизма... Вскоре угасли и пылающее облако и Волга. На закате недолго тлели еще несколько узких облачков, но и они быстро остывали и меркли.

Река похолодела, потемнела, черта берега исчезла и потерялась между темными силуэтами Жигулей и повторившим их в задумчивой реке колеблющимся отражением. Казалось, вершины опрокинутых гор тихо дремлют внизу, а между ними узкой полоской светится там, в глубине, другое, далекое, угасающее небо... Только порой колыхание и трепет, пробежавшие по заснувшей поверхности, взламывали этот мираж, отделяя неподвижную действительность от хрупкой иллюзии... И все это тихо выступало из сумрака, надвигалось, проплывало мимо и поглощалось мглой назад.

Было что-то почти томительное в этой немой, чарующей красоте, заснувшей или мертвой. Какие-то бесформенные образы вставали, теснились, дразнили чуткое воображение и проносились, не давая ни разгадки, ни удовлетворения... Волга, Волга!.. Есть что-то особенное, какое-то ей только свойственное ощущение, неопределенное и, однако, необыкновенно сильное, неясное и, однако, замечательно цельное, которое охватывает душу только на ее просторе... Вся печаль и

все обаяние родной земли, вся ее скорбная история и ее смутные надежды нигде не овладевают сердцем так полно и властно, нигде с такой щемящей настойчивостью не просят образа и выражения, как на Волге, особенно в тихий, сумрачный, немного мгlistый вечер, с догорающим закатом и с надвигающейся из-за дальних вершин холодной, темной, быть может, грозовой тучей.

Однако несколько дней среди молчаливых красот волжского пейзажа все-таки утомляют. Слишком мало определенных впечатлений, и слишком много неясных, туманных, призрачных, не успевающих пробиться к сознанию. Точно та самая дымка, что заволакивает волжские берега, ложится также на воображение и на сердце. Что-то в ней шевелится, и мелькает, и дразнит, но что именно – сказать трудно. А пароход все идет, все так же глухо шумит машина, все так же тянутся берега, и маленький пловучий мирок двигается, весь обвеянный особенной, щемящей скукой...

В этот вечер я долго не мог найти себе места и шатался по пароходу. В третьем классе при слабом свете между колонками и тюками товара виднелись обычные фигуры и слышалось жужжание обычных разговоров.

– И воста, например, в виде змия от земли и до небеси. На небеси жена рождает младенца, а змий простресья его поглотити. И увидевши гадину, ангел...

В первом классе ужинает какой-то желчный господин, страдающий печенью и предпринявший поездку по Волге для здоровья; запах рыбной селянки гонит меня и из второго класса, где несколько молодых людей пьют пиво и играют в карты. На галлереях видны полоски света из окон, за которыми тоже пьют чай или ужинают. Трепетные огоньки чуть освещают бегущую воду вниз, и та же тоска неопределенного очарования глядит отовсюду. Я спасаюсь наконец на верхнюю площадку и сажусь у капитанской рубки...

Здесь тихо и спокойно. Чуть виднеются две молчаливые фигуры лоцманов, то и дело пошевеливающих штурвальное колесо, а из глубины по временам доносится невнятный, как будто сонный, басок капитана. Он говорит что-то один, лишь изредка старший лоцман подает короткие реплики... Но вот понемногу монолог переходит в диалог, постепенно приобретающий все большее оживление.

– Да тут Морщиха-то еще далече, что ли? – говорит капитан с оттенком неудовольствия.

– Эво! Морщиха-то верст еще с десять. А тут только горы да буераки...

– Да верно ли, что спускают?

– Погляди хоть сам...

Капитан неохотно привстает, и на минуту в рубке все смолкают.

Я посмотрел вперед, но ничего не видел. Горы совершенно потемнели, узкая полоска реки чуть светилась, сзади из-за гор тихо раз-вертывались бесформенные тучи, покрывая реку еще более густой тенью.

Через минуту, однако, я различил между горами и их отражением несколько огоньков, двоившихся и вздрагивавших у самого берега. Можно было угадать, что это движется вереница плотов...

– Спустили, подлецы, верно! – сказал капитан с неудовольствием, откладывая бинокль. – Не приму я... Отмахни, Степа, налево.

Младший лоцман взял зеленый фонарь с кожуха и, став на боковом мостике, замахал им в воздухе. В то же время резкий свисток грянул среди молчаливого вечера, будя гулкое эхо.

– Выгребают на стрежень, – сказал опять лоцман.

Я взгляделся и только теперь наконец заме-

тил, что один огонек, отделившись от остальных, двигался по реке наперерез нашему пути. Вот он достиг края совершенно черного отражения гор, и вдруг темной полоской лодочка вырезалась на фоне узкого просвета реки.

– Клади право, – сказал капитан. – Чай, обойдем.

Загремела штурвальная цепь, корма сильно подалась влево, нос поворачивался к правому берегу. Пароход, видимо, старался обойти эту искорку, качавшуюся на светлой полоске.

– Подгребают, – сказал опять лоцман уверенно.

– Может, все-таки проскочим.

– То-то вот, проскочим ли, Степан Евстигнейч? Отчаянные какие-то, или уж вовсе без понятия...

Несколько отрывистых, громких свистков опять неприятно и гулко покатались над рекой... Не довольствуясь этим, капитан схватил рупор и крикнул:

– Лодка – дол-лой!..

Река опять ожила, опять заговорили ввер-

ху и внизу чуткие ущелья... «Коршун» внезапно отделился от яра, выровнялся, и его два разноцветные огня уставились на нашу «Стрелу», точно глаза просыпающегося чудовища. Когда эхо затихло, можно было расслышать издали торопливые удары его колес, точно частые взмахи крыльев тревожно летящей птицы.

– Ах, подлецы, чего делают, – произнес капитан встревоженным голосом и, наклоняясь к говорной трубе, скомандовал:

– Средний ход.

– К-куда вас несет, еретики проклятые? – крикнул он опять в рупор и тотчас же опять нагнулся к трубе:

– Тихий ход, стоп машина.

Пароход осел и стал как-то вздрагивать изнутри. Наступила тишина, короткая и злоедающая, потом поднялось движение. Выбегали из кают пассажиры с салфетками в руках, на ходу вытирая губы, внизу забегали матросы, прибежал помощник капитана и тотчас же стремглав кинулся опять вниз, капитан выскочил на боковой мостик и совсем повис в воздухе, ухватившись за перила. Лодка, меж-

ду тем, оказалась уже совсем близко и, как будто подхваченная какой-то невидимой струей, полетела нам навстречу и исчезла из пределов зрения, скрытая бортами и обносом парохода.

Несколько секунд прошло в томительном ожидании, и затем снизу кто-то сказал грубым, сердитым голосом:

– Давай легость[1], – принимайте, что ли, дьяволы...

Вслед за этим решительным окриком что-то взвилось в воздухе, и тонкая «легость» с гирькой на конце шлепнулась около лодки в воду.

Все вздохнули с облегчением.

– Кто такие? – спросил с недоумением капитан, видимо, озадаченный.

– Так какие-то, – ответил снизу матрос.

– Какое имеют полное право останавливать пароход? – постепенно закипая, продолжал капитан и, вдруг вскипев окончательно, крикнул:

– Не давай мостков, не принимаю. Пусть к «Коршуну» пристают.

Внизу началась легкая возня. Матросы на-

чали отталкивать лодку, и неизвестно, чем бы окончилось оригинальное столкновение, если бы снизу не раздался вдруг новый голос:

– Пойдите, да никак это «Стрела». Степан Евстигнейч, это вы, что ли, на мостике?.. Мое почтение, милейший Степан Евстигнейч!..

Голос был звонкий и приятный, с какими-то смешливо-ласкающими нотами. Капитан, человек простодушный и не особенно быстрый на заключения, видимо вновь был настигнут самым искренним недоумением.

– Что еще? – спросил он с неудовольствием. – Кто меня величает по батюшке?

– Я это, Степан Евстигнейч, вас по батюшке величаю, я, Алымов. Неужто забыли?

– Ксенофонт Ильич?

Внизу радостно замелькала светлая фетровая шляпа.

– Именно, именно, он самый. Прикажете скорее спустить мостки. Право, «Коршун» нагоняет.

– Ах ты, б-боже мой!

И вдруг, чтобы дать исход смешанным ощущениям, волновавшим его простую душу, капитан неистово накинулся на матросов:

– Что рты разинули, дьяволы! Давай мостки, живо! Что вы со мной делаете, черти болотные?

– Есть!

Инцидент казался законченным. Публика уходила в каюты. От скуки я сошел вниз, где матросы при свете фонаря принимали новых пассажиров.

Лодка колыхалась внизу, нос ее мне не был виден, и только на корме, в полосе света выделялась фигура рулевого, рослого, угрюмого человека в широкополой шляпе и шведской кожаной куртке, короткой и узкой. Я заметил энергичные черты, слегка тронутые оспой, и угрюмый взгляд глубоко сидевших глаз. Должно быть, это он так сердито требовал «легость».

Из темноты лодочник подавал наверх багаж пассажиров. Сначала появился дорожный саквояж, довольно щегольского вида, за ним последовал полированный ящик, с какими странствуют художники-пейзажисты, за ящиком – переносный мольберт и зонтик. Очевидно, в лодке находился художник. Но вслед за этим полетел узел, увязанный про-

стыней, за ним – чемодан с распертыми боками и плохо увязанный бечевкой. Из чемодана, а также из следующего узла что-то шлепнулось в воду, и какой-то белый предмет начал тонуть, увлекаемый течением. За ним последовала самоварная труба, выпавшая из какой-то прорехи...

Наконец, за последним узлом появилась фетровая шляпа, покрывавшая красивую голову, с русыми кудрявыми волосами. Большие голубые глаза, щеки с густым загаром, небольшие усы, не покрывавшие полного, несколько чувственного, но очень красиво очерченного рта, небольшая курчавая бородка и какое-то открытое, слегка насмешливое выражение делали очень приятной всю эту фигуру, облеченную в сиреневое, немного выцветшее пальто... Ксенофонт Ильич Алымов остановился на середине лесенки и заботливо протянул руку навстречу подымавшейся за ним новой фигуре.

Это была молодая девушка с миловидным, несколько застенчивым или испуганным лицом, в простом платочке. Она как будто колебалась секунду, но затем протянула Алымову

руку и неловко поднялась на лесенку, как человек, не привыкший к подобной помощи.

– Скоро ли? – раздался сверху голос капитана, проникнутый выражением глубокой тоски.

– Поторопитесь, пожалуйста, Романыч, – сказал Алымов с оттенком легкого раздражения в голосе. Человек в шведской куртке неторопливо расплачивался с лодочником.

– Ну, прощай, Филипп Романович, – сказал тот добродушно, приняв бумажку. – Не поминай лихом, добром, видно, не помянешь. А я тебе скажу по-божецки...

Угрюмый человек, собравшийся уже ступить на лесенку, резко повернулся.

– Свое получил? – спросил он грубо.

– Получил, – ответил мужик, принимаясь прилаживать весла.

– Ну и проваливай.

– Что т-там еще? – послышался с капитанских мостков совсем уже умирающий голос. – Скоро ли?

– Готово.

– Вперед до полного!

Внутри парохода что-то прокатилось от но-

са к корме, из-под колеса широко хлынула светящаяся белая пена.

– Што вы, черти, потопите ведь! – крикнул лодочник, но в голосе его слышалось скорее веселое возбуждение, чем страх. Матросы, скаля белые зубы, смотрели на затруднительное положение волгаря. Глубоко захваченный колесом, темный вал кинул лодку чуть не вровень с обносом парохода, потом она резко мотнулась книзу, и я одно мгновение считал ее уже опрокинутой. Но на следующем валу она колыхнулась уже с поднятыми в ключинах веслами, точно птица с расправленными крыльями, готовая к полету.

– Прощай, барин Алымов, до увиданья, – весело крикнул лодочник и прибавил еще что-то, но слова уносило уже назад вместе с лодкой.

– Прощай, Михайла, – ответил Алымов. Его выразительные глаза сверкали живым любопытством художника. Казалось, он старается запомнить этот сердито катящийся вал, освещенную огнями белую пену, лодку, наполовину повисшую в воздухе, лохматую, ничем не покрытую голову и широкую фигуру волгаря,

уверенно взмахивающего веслами над темной глубиной.

– Пожалуйста за билетами в кассу, – сказал матрос, сдвигая борты.

– Я возьму всем? – сказал Алымов тоном вопроса.

– Не надо, – пробурчал Романыч, и они вдвоем отправились к кассе. Но, отойдя несколько шагов, Романыч вернулся и, остановившись около девушки, спросил, угрюмо потупясь и как-то вбок:

– Вам куда?

Девушка, как мне показалось, сильно побледнела. Что она сказала, я не слышал.

Когда я взошел наверх и опять поместился у капитанской рубки, мимо нас огромный и весь в огнях, точно буря, неся «Коршун». Пока «Стрела» успела забрать полный ход, он вынесся вперед, и вскоре висевшая над его кормой, освещенная фонарем, лодка покачивалась иронически в воздухе, над клокотавшей пеной, в нескольких саженьях перед нами. Впереди мелькали огоньки переката...

– Кончено, – сказал капитан с унылой злостью.

– Да, теперича уж он выскочил, по всем пристаням дойдет обирать, а в Ставрополе у нас никак погрузка.

– Нанесло их, чертей, – сказал капитан и запнулся. У самой рубки забелела фетровая шляпа Алымова. Он без церемоний открыл стеклянную дверь и вошел в рубку.

– Ругаетесь? – сказал он беспечно.

– Не ругаемся, – ответил капитан не особенно приветливо, но все-таки подвигаясь, чтобы дать подле себя место пришедшему. – А что хорошего мало, это верно.

– А ловко мы вас взяли на абордаж, – не правда ли?

– Мало ли что. Это ведь отчаянность, – ответил капитан холодно и прибавил с внезапной злобой:

– Лодочника, подлеца, в каторгу мало! Ну, потопили бы вас, кто в ответе?

Алымов звонко засмеялся.

– Капитан в ответе. А теперь, спрашивается, за что? Когда же я отмахиваюсь вон еще отколе. Можете вы это понимать?

– Право, могу, – ответил Алымов смиренно.

– Плохо понимаете, видно... Вам вот все смех... К «Коршуну», небось, не пристали, – прибавил он с такой горькой укоризной, что Алымов совсем откинулся, заливаясь своим красивым звенящим смехом. По-видимому, это неуместное веселье грозило окончательно испортить отношения, но беспечный художник внезапно остановился и сказал совершенно другим тоном:

– Правда, что вам от правления поднесен серебряный рупор?

– Правда, – неохотно ответил капитан.

– Это вы в него так громко кричали? Чорт

знает, точно из пушки.

Капитан промолчал.

– Ну, не дуйтесь. Хотите, я завтра с вас портрет нарисую?..

– Ну-у? – протянул капитан с оттенком радостного сомнения.

– Верно. Хотите с рупором?

– Нет, – скромно ответил тот. – Для чего еще с рупором. Хоть так бы.

– С рупором и во всей форме. Мне это ничего не стоит, – сказал Алымов с великолепной небрежностью. По-видимому, произошло полное примирение.

– Вы билет-то взяли? – спросил капитан ласково.

– Взял второго класса.

– Ну, зачем второго? Можно бы и третьего. А место я вам дам в первом. Тут в четырехместной всего один какой-то пассажир едет, просторно. Откуда бог несет?

– С Архиерейской ватаги.

– Это пониже Ставрополя? Что-то больно далеко. Сюда-то как попали?

– Сплыли на рыбацкой лодке, потом на плотках плыли. Стали уху варить, ан вы тут и

покажись. Уху бросили.

– Плотовщики съедят за ваше здоровье, – усмехнулся старший лоцман, налегая на колесо.

– А это с вами какие народы? – спросил опять капитан.

– Погорельцы, – серьезно ответил Алымов.

– Не похоже. Как же это?..

– Вот посмотрите, мимо побеем. Может, разве потухло, а то еще и теперь, пожалуй, тлеет.

– От Сенькина буераку отсвечивало... Тут ведь лоцинкой-то прямо видать, – сказал опять лоцман.

– Да вот как, – сказал капитан в раздумье. – Так они как же?

– Да, так вот, уложили рухлядишку и едут... собирать на погорелое место.

В рубке опять раздался звонкий смех, и затем Алымов сказал, подымаясь с места:

– Пойдем, что ли, Степан Евстигнееч, выпьем по маленькой. – Скучно что-то...

Капитан тоже поднялся.

– Тут прямо, – сказал он, как бы в оправдание перед кем-то.

Оба ушли. Некоторое время слышно было только шуршание штурвальной цепи.

– Хм, – вдруг смешливо фыркнул младший лоцман.

– Только помани, – пояснил пренебрежительно старший.

– Что за народ? – еще через некоторое время лаконически кинул в пространство младший. – Смотри, еще полиция хватится...

– Алымов с ними, – сказал старший. – Положим, человек легкий, со всякими водится.

– Дело не наше, – заключил он, опять помолчав, и затем только шуршание цепи выдавало присутствие обоих в рубке. Лоцмана вообще народ мало разговорчивый. В течение семи месяцев в году, вглядываясь во все изгибы реки, во всякий выступ берега, во всякую заводь и береговую отмель, – они привыкают ограничивать свое внимание пределами видимого русла реки, жить и думать только глазами.

Через несколько времени пришел снизу капитан, обтирая на ходу усы рукавами, уселся на своем месте и, помолчав, сказал с выражением живейшего удовольствия:

– В прошлом году с зевекинского капитана ландшафтик снял. Живой, так и глядит.

Лоцмана не ответили. Пароход пробирался среди темноты, которая стала еще гуще от надвигавшейся из-за гор мгливой тучи. Впереди тревожно мелькали еще две-три звезды, но невидимые на темном небе, клочья тумана гасили их одну за другой. Полоса на реке тоже исчезла... Горы сменяли свои причудливые очертания, среди которых, лишь когда пароход подходил совсем близко, можно было порой различить то серую скалу, торчащую среди зелени, то узкие долины и ущелья. Изредка слышался шорох лесных вершин, как будто вздрагивавших под надвигавшейся холодной тучей.

Замелькали живые огоньки. Пароход шел у правого берега, а на левом открылась широкая лощина, охваченная уступами гор. В лощине приютилась деревушка. Кое-где ее огоньки лепились и по уступам, перемежаясь с темными пятнами кустарника. На одной из площадок, у самой стены темного леса, уходившего далее к вершинам, светилось полупотухшее широкое огнище; по временам оно

почти совсем угасало, и только дыхание порывистого ночного ветра опять раздувало его. Тогда как-то зловеще начинали сверкать угли, обрисовывались черные бревна, низко стлался освещенный дым – и казалось, будто какое-то огненное чудовище шипит, извивается и дышит над тихой лощиной и скромной деревенькой. Красные отсветы ложились на крыши изб, разливались по ближним склонам холмов, падали на реку и опять тихо гасли...

Пароход долго обходил песчаную отмель против самой деревни, и она была вся как на ладони. В крайней избе, над небольшой кручей, открылась дверь, и казалось, что кто-то стоит в освещенном квадрате и смотрит на темную реку и на осторожно пробирающийся по ней пароход. Внизу на песчаной отмели курился рыбацкий огонек. Сделав большой круг, пароход стал удаляться, и я как-то невольно прошел и остановился у кормы, провожая взглядом исчезающую деревеньку...

Внизу под моими ногами кто-то свистнул. Я взглянул туда и увидел у казенки[2] всю ин-

тересовавшую меня компанию. Алымов при-
могнулся в беспечной позе на связке косяка
[3] и покачивался, охватив руками колени.
Девушка сидела у самого борта и, казалось,
плакала; лица ее не было видно, так как голо-
ву она положила на руки. Широкая черная
шляпа Романыча виднелась тут же.

Пароход опять повернул; гора закрыла ло-
щину и сама стала удаляться. Новый поворот,
опять пятно света вдаль, все слабее, все мень-
ше, и скоро уже трудно было угадать самое
место, где находилось ущелье и деревенька.
Жигули развертывали все новые, однообраз-
ные очертания, молчаливые, безлюдные и пу-
стые.

А назади ночная мгла стирала последние
признаки оставленных мест.

– Да-да, вот она, полоса жизни! – раздался
вдруг в темноте задумчивый и выразитель-
ный возглас Алыпина.

Его спутники не ответили. Было что-то
невыразимо грустное в этой полоске берега,
все более поглощаемого мглой...

Некоторое время на корме длилось молча-
ние. Потом Алымов встал и подошел к девуш-

ке.

– Фленушка, Флена Ивановна, – заговорил он нежно, наклоняясь над ней. – Ну, не плачьте, голубушка, художник Алымов не может видеть ваших слез, ну, право же, право, у художника Алымова поворачивается сердце...

Он еще ниже наклонился над девушкой.

– Вы не верите, вы думаете, что Алымов только и умеет смеяться... Ах, Фленушка, Фленушка! Если бы вы могли заглянуть Алымову в душу... Но вы не хотите, вам это зрелище не интересно... Бог с вами. А я все-таки скажу вам то, что хотел сказать еще утром. Если бы вы... когда-нибудь... Нет, не выходит, – прервал он себя грустно. – Ну, все равно. Когда-то, Фленушка, вы, кажется, считали меня другом. Так вот, на правах старого друга я скажу вам: всего лучше было бы вам бросить Романыча на произвол судьбы и итти себе своей дорогой.

Романыч желчно засмеялся.

– И смеется-то скверно, – кинул в его сторону Алымов. – Ну, вспомните, голубушка, оглянитесь хоть немного. Ведь он вел себя с вами как последний дурак и тупица: ломит под па-

роход, о вас думает столько же, сколько о самоварной трубе, которая нашла вечное успокоение в пучине.

До сих пор Алымов говорил серьезно. Но воспоминание о печальной участи трубы, по видимому, представило слишком сильное искушение. Он захохотал, откинув голову, и потом сказал виновато и грустно:

– Опять этот проклятый смех... Это прямо несчастье моей жизни! Ну, до свидания, дети мои. Все я говорил не то, что нужно. Берите у жизни, что дается, и... примите благословение художника Алымова... Об Алымове же ведайте, что его, в случае надобности, найдете в буфете.

Он засмеялся совсем весело, и его шляпа исчезла из пределов моего зрения.

– Шут гороховый, – злобно сказал Романыч, в свою очередь подходя к девушке. Я слушал, улыбаясь, полукомические объяснения Алымова, но теперь дальнейшее подслушивание мне показалось неуместным, и я отошел от кормы. Когда, пройдя вдоль палубы, я опять подошел к этому месту, у казенки никого уже не было.

IV

Зато на пароходе ясно сказывалось присутствие живого и беспокойного человека. Через несколько минут Алымов сошелся с компанией молодых людей, вяло изнывавших во втором классе, появился с ними у буфета и организовал на корме импровизированный хор. Концерт вышел довольно оригинальный. На небольшом пространстве, освещенном электрической лампочкой, теснилась кучка молодежи; на фоне темной реки рисовались широкие шляпы, форменные фуражки, порой старое пальтишко, то опять молодцевато выпяченная грудь с блестящими пуговицами. Молодые голоса летели в темноту и отдавались в сонных ущельях, а ритмический плеск воды за кормой сопровождал пению...

В боковых галлереях толпилась заинтересованная публика, выползло даже несколько фигур из третьего класса. Два торговца, говорившие недавно о змее, уселись поблизости, прислушиваясь к пению. Только Алымов был, по-видимому, недоволен, нервно обрывал песню за песней и начинал дру-

гие.

– Давайте, господа, «Волгу-матушку».

«Во-олга ма-атушка бурлива, говорят», – начинал он высоким, довольно приятным, хотя и слабым тенором.

«Под Самарою, – подхватывал хор, – разбойнички шалят».

– Нет, не выходит, – нетерпеливо махал он рукой. – Давайте другую.

– Да что вам нужно? – спрашивали у него. – Ведь не опера.

– Давайте что-нибудь попроще: «Сердце ли бьется». «Ноет ли грудь», – послушно и стройно летело опять над Волгой:

*Пей, пока пьется,
Все позабудь...*

«Пей, тоска пройдет!» – прозвенело уже совсем хорошо, но Алымов опять остался недоволен.

– Давайте, господа, лучше выпьем в самом деле, – сказал он наконец. – Чорт знает, выдохлись, что ли, волжские песни. «Стружок-стружок»... «Сорок два молодца», «В Самаре девицы хороши!» Уж вот можно ска-

зять... Чорт с ними, со всеми сорока двумя и их девицами. Нужна новая жизнь, не правда ли, господа?

По-видимому, он уже успел выпить. Молодежь разошлась вяло и среди взаимного охлаждения, а Алымов вскоре вернулся опять из буфета и стал нервно ходить взад и вперед по палубе.

Два торговца-слушателя продолжали сидеть на том же месте, и один из них остановил проходившего Алыпина за полу пальто:

– Барин, Алымов, – сказал он. – Присядь к нам, мы тебя знаем.

– Ну, так что же? – спросил Алымов сердито.

– Ты у нас в Синюхе бывал. Картины писал, песни записывал.

– А ты меня к становому на веревочке представлял?

– Было кому и без нас. Да ты, если умен, так на нас, дураков, не сердись. Не знали тебя.

– Ну, не сержусь, так что же дальше?

– Присядь вот тут. Понравился ты мне: правду насчет песни нонешней говоришь. Сам я, барин, любитель большой, только на-

ша песня, сказать, старинная. Нонче песня под ножку поется...

– Под ножку? – переспросил Алымов.

– Да, ноге под нее плясать хочется. А старинная песня, настоящая, велась протяжно... Заведут-заведут, и-и! слеза шибает. У нас вот, в Синюхе, про разбойницу жену песня поется старинная. Ты слышал ли?

– Нет, не слышал.

– Ах, и хороша песня. Кум Елизар, подтянешь, что ли?

– Ну тебя, – угрюмо буркнул кум Елизар.

– Ничего, барин простой, давай подтягивай... Это, стало быть, «Собиралась Машенька за разбойника замуж».

– И никогда так старинные песни не начинаются, – сказал капризно Алымов.

– Ты слушай.

Одноглазый певец хлопнул себя по колену и, слегка запрокинув голову, запел о том,

*Как со вечера разбойник
Собирался на разбой,
Со полуночи разбойник
Начал тракты разбивать.*

Одноглазый пел гнусавым фальцетом, Ели-

зар поддерживал баском. Это была известная, значительно опошленная искажениями песня о разбойницкой жене, которую, уже, очевидно, от себя, синюхинцы называли Машенькой. На заре она слышит, как брякнет кольцо, – значит, муж приехал с промысла, привез подарок. Жена разворачивает мужнин подарок и падает на него грудь. «Что ты сделал, – стонет она, – вор-разбойник, отца родного убил!» Отвечает вор-разбойник горько плачущей жене: «Как попался в первую встречу, – и отцу я не спущу...»

Боковой свет лампочки освещал мрачные силуэты певцов, с хищными носами, птичьими длинными шеями и торчащими вперед бородами. Лица были темны, носы угреватые, незрячий глаз одного из них отсвечивал порой мертвым блеском. Невольно приходил в голову вопрос: что общего у этих «любителей» с поэзией и тоской песни?

Впрочем, и трудно было на этот раз уловить ее выражение: и тоска и поэзия, по-видимому, совершенно отсутствовали в песне. Но все же было в ней что-то, привлекавшее какое-то жуткое внимание: что-то гнусливое,

жалобно скрипучее и дикое. Такие звуки слышатся иногда бог весть откуда в сонном кошмаре. Но все-таки это было так своеобразно, ни на что не похоже и вместе так характерно, что казалось каким-то чудом, сохранившимся отзвуком мрачной и леденящей старины... Не так ли, в самом деле, были эту песню, под скрип и визг метели, те «настоящие» люди, для которых эта песня была действительно-стью, а нехитрый мотив – ее непосредственным выражением?

При последних нотах песни Алымов торопливо набрасывал в свой карманный альбом.

– Записал? – спросил певец самодовольно.

– Записал, – сквозь зубы ответил Алымов, но для меня лучи лампочки ясно освещали страницу, на которой резко выделялся эскиз двух фигур.

– Хороша ли песня?

Алымов спрятал альбом в карман и сказал разносчикам как-то капризно:

– Др-рянь ваша песня... Для почину отца убил... И напев, чорт вас знает, волчий какой-то.

Он повел плечами, как будто от озноба,

отошел несколько шагов и остановился у перил, глядя на реку...

Я тоже поднялся. Волга потемнела совершенно, и даже вблизи вода угадывалась только по движению валов, глухо шумевших внизу. Впереди одиноко светился кузов «Коршуна», точно светляк, вяло ползающий в огромной чернильнице. В рубке осторожно шуршала цепь, и слышались отрывочные замечания лоцманов, чутко и тревожно пронизывавших глазами ночную тьму. Пассажиры разошлись по каютам, окна, выходявшие на галлерею, гасли одно за другим, официанты подсчитывали сдаваемую буфетчику выручку, общие комнаты опустели. Только один Алымов еще появлялся то здесь, то там, точно беспокойный трутень в засыпающем улье.

Я тоже вошел в каюту и улегся, не зажигая огня. Окно было полуоткрыто и едва отличалось от темных стен. Ленивый и влажный ветер, врывавшийся снаружи, плохо разгонял духоту, скопившуюся за день от раскаленных крашенных стенок парохода. За тонкими перегородками были слышны вздохи и нетерпеливая возня. Мой сосед, страдавший печенью,

по-видимому, томился еще бессонницей.

По галлерее кто-то ходил, и темный силуэт мелькал мимо окон. Потом кто-то уселся невдалеке на скамейке, и до меня донеслось тихое пение. Я осторожно поднялся и подошел к окну. Очень близко от него, облокотясь на белый крашеный столик под стенкой, сидел Алымов. Его шляпа лежала на столике, он проводил рукой по лбу и волосам, как будто стараясь прогнать этим движением что-то неприятное, потом стал тихо напевать. Зеленоватый свет фонаря полоской падал на палубу и на переплет перил, отделяя от остальной темноты уголок, в котором уютно примостился Алымов... Он, вероятно, отдавался этому ощущению одиночества, и его песня крепла. Он часто возвращался к началу, как будто подыскивая не вполне дававшийся ему мотив, замолкал, опять нервно проводил рукой по лбу и опять начинал. Едва ли когда-нибудь песня бывает непосредственнее и искреннее, чем в такие минуты, когда она просится из души, в темноте и одиночестве. Здесь порой даже человек, никогда не поющий, находит вдруг какие-то неожиданные тихие и искрен-

ние звуки, которые могли бы тронуть даже взыскательного слушателя. Очевидно, это была одна из таких минут для господина Альимова.

Я стоял у своего окна точно очарованный... И слова, и мелодия, и голос певца, которому он не давал воли, звучавший будто где-то далеко, – все сливалось в удивительно цельную гармонию с этой темной и загадочной волжской ночью, с туманными призраками гор, с таинственным эхом ущелий, с мерным колыханием валов, даже, казалось мне, с недавней ужасною песнью синюхинских прасолов.

Наконец певец как будто нашел свой мотив, и песня зазвучала яснее:

*Уж пойду ли я, уж пойду ли я
Под Новгород, —
Пойду,
Под Новгород пойду!
Разнесу ли я, разнесу ли я
Стены каменны, —
Разнесу!
Кузнецов лихих, весь искусный люд
Я к себе в Москву
Заберу!
А всю земщину-деревенщину*

*По святой Руси
Размечу![4]*

Смысл песни был, конечно, ясен. Это московский князь идет под Новгород и похваляется разнести каменные стены... Балахна и Городец, и многие места по Волге, и угрюмая Кама, и дикая Вятка, и вологодские леса, и тихие архангельские реки видели у себя новгородских насельников, и даже среди простого народа до сих пор живы предания о грозе, разметавшей из Великого Новгорода земцину-деревенщину, опальных бояр и зольных посадских людей...

«Уж я вольницу-своевольницу», – продолжает московский князь, —

*Смертью лютою
Показню!
Я крамольников-своевольников
В омутах-реках
Потоплю!
Не звонить тебе, не звонить тебе,
Буйный колокол,
Не звонить...
Буйный колокол...
Не звонить...*

Алымов смолк и довольно долго сидел, опустив голову на руки. По-видимому, песня была кончена, но я все стоял под обаянием глубокой и искренней тоски, прозвучавшей при последних словах в голосе странного певца... Точно в самом деле с кидаящею в дрожь непосредственностью живого ощущения из темноты волжской ночи, из шума валов и шороха невидных лесов встал этот умерший отголосок исторического стога и несется, как призрак, за бегущим в темноте пароходом...

В угловой каюте, направо, в окне, совсем низко уставившемся в Алымова, шевельнулась и затем осторожно отодвинулась занавеска. Так как окно было под прямым углом, то мне было видно, как в нем мелькнуло женское лицо с темными, густыми, беспорядочно распущенными волосами. Но Алымов сидел в полоборота и ничего не видел. Он опять провел руками по лбу и волосам, – и мне показалось, когда он запел опять, что это уже другая песня, – столько в ней было мягкой жалости и тоски, в противоположность похвальбе и угрозе предыдущей. Но мотив оставался тот же:

*Ах, по Волге ли, ах, по реченьке
Плывет стружок,
Плывет...
В той ли лодочке, как лебедушка,
Красна девица
Слезы льет...*

Кто-то опять мягко, ласково и задушевно
утешает плачущую:

*Эх, не плачь-ка ты, не горюй-ка
ты,
Красна девица,
Перестань!
Будем соль варить, торговать
зачнем,
Лихо-весело
Заживем!
Лихо-весело заживем!*

Какая-то горькая удадь, которую, вероятно,
и искал недавно Алымов в хоре, теперь звуча-
ла ясно, сильно и полно в его негромкой пес-
не. И тотчас опять только тоска и слезы... Это,
должно быть, отвечает плачущая девушка:

*Ах, и золото, ах, и серебро,
Золота казна
Нипочем...*

*Золота казна нипочем,
Коли волюшку свою вольную
Не воротим мы,
Не вернем...*

– Не вернем!.. не вернем, – еще несколько раз тихо повторил Алымов, все ниже опуская голову и опять возвращаясь к последним нотам.

Стукнуло еще одно окно; на этот раз над самую голову Алымова.

– Конец, что ли? – спросил недовольный и резкий голос моего страдавшего печенью соседа. «Не вернем, не вернем и не вверррнем!» – ведь это чорт знает что такое, наконец. Надо же дать людям заснуть... Пишут в газетах: поездки! Для здоровья! Какое тут к чорту здоровье...

– Ах, извините, пожалуйста, – ответил Алымов, как будто испуганный внезапным нападением, и быстро вскочил с своего места. Окно захлопнулось, задернулась также занавеска в угловой каюте, но за ней еще раз мелькнуло в темном квадрате бледное женское лицо, которому этот сумрак придавал какую-то особенную, грустную и заманчивую

прелесть.

– Mersi, m-sieur Алымов[5], – сказал красивый, несколько разнеженный и приятный бархатный голос.

Алымов удивленно повернулся. Занавеска еще колыхалась, но окно было темно и пусто.

– Глуб-боко тронут, сударыня, – тронут и очарован, – сказал Алымов, ломаясь и школьничая. Теперь я заметил ясно, что частые посещения буфета оказали на г-на Алымова сильное действие.

– К услугам вашим, готов петь хоть до зари, если бы не боялся вот этого господина...

– Сударыня! – сказал он затем тихо, и вдруг опять громко рассмеялся, стал в позу и, перебирая пальцами, как будто играя на гитаре, запел вполголоса:

*Что же, слышит, иль не слышит,
Спит она, или не спит?..*

– Не-ет, не спит, стоит за занавесочкой и слушает. Ай-ай-ай, не хорошо подслушивать, сударыня... Впрочем, – спокойной ночи...

*К тебе я буду прилетать,
Гостить я стану до денницы.[6]*

– Ха-ха-ха! – И художник Алымов, смеясь, поплелся по галлерее, пробуя в темноте то одни, то другие двери. Некоторое время все было тихо.

Только сосед за перегородкой с ожесточением кидался на своей койке.

Еще через минуту в пустой общей зале, в которой горела одна только лампочка, слышались шаги, кто-то откинул ногой стул, потом резко затрещал электрический звонок. Ген Алымов требовал себе рюмку коньяку.

– Никак невозможно, – говорил с каким-то почтительным неудовольствием полусонный лакей, вероятно, дожидавшийся с нетерпением, пока уляжется беспокойный пассажир, чтобы погасить последние огни и улечься наконец самому.

– Никак невозможно-с. Второй час на исходе-с.

– Ну, черт с тобой, – сказал Алымов капризным и обиженным тоном. – Где тут мое место?

– Пожалуйста, тут вот, в общей... Сделайте ваше одолжение, потише. Тут господин спит уже...

– И пусть спит, чорт с ним. Мне какое дело. Пстой, скажи: что за человек? Купчина какой-нибудь, на ярмарку?

– Не могу знать, а не похоже, что купцы. Пожалуйте...

– Чиновник?

– Не могу знать, а не похоже опять. В шляпе. Пожалуйте!

– Пстой, погоди, успею. Офицер?

– Не офицеры. Пож-жалуйте, будьте настолько добры. Не хорошо: разбудите.

Щелкнула ручка двери, и слабая полоска света влетела в мою каюту. Алымов заглянул в эту щелку, приложившись к ней лицом, и, опять повернувшись к лакею, спросил шопотом:

– Симбирский помещик?

– Не похоже.

– Опять не похоже! Нет, Илюша, это, наконец, невозможно. В России непременно или купец, или чиновник, или офицер... Ведь не мужик, наконец, пойми, Илюша. Мужики в первом классе не ездят.

– Как можно, помилуйте.

– Ну, вот видишь. Кто же еще? Пстой, по-

стой! Вот мы сейчас с тобой припомним.

И господин Алымов стал декламировать из Некрасова.

*Довольно с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников... двор-рян,
Довольно даже и поэтов...
Но нужно, нужно нам граждан.[7]*

– Так вот он кто еще: почетный гражданин какой-нибудь. Говори, Илья: почетный гражданин, что ли?

– Не могу знать, верьте совести. Едут от Астрахани, от самой, а на вопрос, например, кто такие, – не соответствуют. В Сарепте рыбак Иван Семеныч спрашивали... «По своему собственному делу», – говорит, больше ничего.

– Видишь! А ты меня, к несоответствующему человеку посылаешь. Неси рюмку коньяку для храбрости, а то не иду.

– Буфетчик спит, Ксенофонт Ильич, – невозможно. И рад бы, да нельзя... Пожалуйте.

– Ну, черт с тобой, пожалуйю. А в случае чего, помни: ты, Илья, не знаю, как тебя по фамилии звать, за художника Алымова в ответе.

Помни, Илья, ну, с богом! Отворяй. Э! Постой. Это еще что?

Г-н Алымов остановился в отворенной двери. Между тем в зале появилось новое лицо: при слабом свете лампочки, точно полуночный призрак, проследовала неизвестно откуда появившаяся дама. Она была высокая, роскошная брюнетка, сильно напомнившая мне неясный образ, мелькавший в угловом окошечке. Она пожималась, как будто от холода, и на красивом лице видно было как будто неудовольствие, что ей мешают спать. Но было и еще что-то. Алымов засмеялся с несколько дерзким видом и захлопнул дверь.

Струя воздуха кинулась от окна, хлопнул конец занавески, г-н Алымов очутился в темноте и не совсем верными стопами прошел через каюту. Он шумно приподнял занавеску, стуча медными кольцами... Потом стал у окна и закурил папиросу. Я тоже чиркнул спичкой.

Алымов быстро повернулся.

– Я вас опять разбудил. Впрочем, какое мне дело? Каюта общая. Вхожу я в общую каюту и ни о чем не забочусь. Вам не нравится мое пение. Правильно: А курить в каюте имею пра-

во. Не хочу спать.

– Совершенно справедливо, и потому не возражаю, – ответил я улыбаясь.

– Какого чорта вы смеетесь? – сказал он с неудовольствием, заслышав улыбку в моем ответе.

– Какое вам дело? – ответил я ему в тон; меня это начинало забавлять. – Смеюсь в общей каюте – и кончено.

– Гм... удивительно, – сказал Алымов в каком-то раздумье. – Однако как вы разговариваете! Постойте-ка...

Он пошарил по стенке и отвернул кнопку электрической лампочки. Комната осветилась, и мы оба некоторое время щурились от непривычки. Алымов первый, бесцеремонно оглядев меня, вдруг рассмеялся и сказал:

– Нет, это не вы меня обругали за пение.

– Действительно, я вас не ругал.

– Вы кто такой?

– Пассажир.

– Глупо! Почему в самом деле не ответить на вопрос.

– Какая надобность предлагать такие вопросы?

– Гм... Удивительно, – опять повторил Алымов и сказал затем: – Чисто русская бесцеремонность, верно! Русский человек не может успокоиться, пока не узнает доподлинно, чем кормится его ближний. Ну, и я – русский человек, и притом еще наделенный экстренной любознательностью... Да, да, да! Пойдите, ведь это вы там внизу так бесцеремонно приставались, когда мы приставали к пароходу.

Я засмеялся.

– Согласитесь, что у меня были для этого любопытства некоторые основания.

– Какие, любопытно, основания?

– Да хотя бы и в экстренном способе вашей посадки на пароход. Приятно видеть такую удаль.

– Кой чорт удаль! Сумасшествие! – сказал Алымов с неудовольствием. – Вы думаете, это мы нарочно? Просто оказалось, что наш рулевой не умеет править. Если бы не молодчина гребец – чорт знает, что бы вышло. Я что! Я наблюдатель... потонул бы из любопытства, с некоторым удовольствием. А ведь с нами была девушка, она жить хочет. Пойдите-ка, ти-

ше, тсс...

Г-н Алымов вдруг замолчал и прижался к стене. Мимо окна промелькнула какая-то тень. Алымов высунулся в окно и долго смотрел кому-то вслед.

– Кто это ходит так поздно? – спросил я.

Алымов не ответил. Он закурил новую папиросу и полулег на скамье в задумчивой и мечтательной позе.

– Alte Geschichte[8], – сказал он, пуская кольцо дыма. – Поздравляю, г-н Алымов! Ваши добрые знакомые у пристани.

– О ком вы говорите?

– Вам какое дело? Кстати: вы писатель?

Я невольно сделал легкое движение, Алымов громко засмеялся.

Сосед за стеной опять бешено завозился на своем страдальческом ложе. Алымов равнодушно повел в ту сторону глазами и сказал в высшей степени хладнокровно:

– Чорт с ним! А я, согласитесь, угадал вашу профессию.

– Допустим, но по каким это признакам? – спросил я. Алымов опять засмеялся и спросил в свою очередь:

– Скажите, отчего это: купец, чиновник, даже живописец и актер сразу отвечают на вопрос о своей профессии; торгую, имею собственное имение в Самарской губернии, двадцатого числа получаю из казначейства. Только писатель непременно замнется. Ха-ха! Точно или боится ослепить слушателя, или опасается, что его сочтут прохвостом...

– Ну, полно! Это было, да прошло.

– «Ну, полно», – передразнил он. – Не бытовое вы явление, господа, на Руси, вот что! Еще в столицах – так. А вот здесь, на Волге, скажите вы хоть тому рыбнику, который вас допрашивал в Сарепте: дескать «пишу». А он посмотрит, что на вас пальто приличное, и спросит: «А служите где?» Или: «А из буфета даром, что ли, тебе отпускают?»

Он залился опять звонким смехом и спросил добродушно:

– Не обижаетесь?

– Нимало.

– И отлично, а то я бы сейчас лег спать, а уснуть ни за что не усну. Заметили вы, какой подлый сегодня был день и ночь?

– День как день, а вечер действительно

темный.

– Темный; не в этом дело, – сказал Алымов с нотой раздражения. – Нет, такие подлые вечера, к счастью, выдаются не часто: слишком горячий закат и ужасно холодные тоны на востоке. С одной стороны природа горит, с другой – зябнет. Брр... чистая лихорадка для нервов... Ужасно раздражает.

– Вы художник?

Алымов вдруг насторожился, слышал опять шаги на галлерейке. Он поднялся с места, подошел на цыпочках, к кнопке и осторожно завернул ее. Огонь погас, и скоро опять две фигуры мелькнули мимо окна. Алымов опять проводил их глазами, высунувшись наружу, и затем, сев по-прежнему, ответил на мой вопрос:

– Художник, соперник Репина. Вы видали репинских бурлаков?

– Конечно, видел.

– Конечно, видели. А заметили там на первом плане песчаную отмель и старую, растрепанную корзину, вернее – снасть для рыбной ловли, замытую песком.

– Да, помнится что-то.

– Ну вот, моя специальность – такие отдели и такие корзины...

Он засмеялся, впрочем, как-то грустно, но тотчас же овладел своим выразительным голосом и продолжал уже совсем весело:

– Да, мы с Репиным давние соперники. У него гораздо лучше выходят бурлаки, а у меня корзины и лапти... Вы на N-ской выставке не были?

– Был и очень хорошо помню ваши эскизы.

– «Старую корягу у устья Керженца»?

– Видел и корягу. Коряга, действительно, замечательная.

– Я и говорю: куда Репину! Только и умел написать бурлаков, вода – точно с синькой; песок не волжский... а уж о корзине и говорить нечего! – В каюте опять зазвенел его открытый, заразительный смех.

Я задумался... Имя художника Алымова было мне уже раньше известно из поволжских газет. Местная пресса гордилась им, как своей областной известностью, и авторы заметок всегда прибавляли к его имени эпитеты: «наш» Алымов, или «наш известный пейзажист». Немного странно было то обстоятельство, что при этом почти всегда выходило разноречие в определении его специальности. Одни считали его «нашим известным пейзажистом», другие называли его поволжским жанристом, третьи считали Алымова художником-этнографом и, наконец, «художником бытописателем Поволжья».

Незадолго до описываемой встречи в городе N состоялась «первая», чуть ли не с самого основания Руси, областная художественная выставка. Это было нечто отчасти интересное, отчасти печальное, отчасти трогательное и в значительной мере курьезное. Тут были копии масляными красками с известных олеографий. Патер, смеющийся над рюмкой вина, патер, плачущий над разбитою рюм-

кой, патер, у которого на нос села муха. Были тут наивные барашки в золоченых рамах, почетительно выставленная пачкотня добрейшей NN, местной меценатки (что делать – областное искусство так нуждается в сильном покровительстве)... Среди этой мелюзги чуть не целую стену занял художественный левиафан, академическая конкурсная тема, написанная около полустолетия назад рисовальным учителем кадетского корпуса, в то время еще мечтавшим завоевать и карьеру и славу при помощи тщательно выписанных спин, бедер и торсов. Были сильно потемневшие «дубликаты» Рембрандтов и Ван-Дейков, об удивительном способе приобретения которых и о несомненной идентичности местные любители-коллекционеры пространно поведали в газете. И что всего удивительнее, пройдя почти всю выставку, я нигде не встретил ничего подлинно местного, близкого, областного. Казалось, все это искусство, преклонявшееся перед экспрессией олеографий и в лучших представителях погружавшееся в смутное воспоминание о блеске академической натуры, – брезгливо сторонится от

всего близкого, как будто эти примелькавшиеся поля и воложки, эти острова с осокорьями, печальные горы, растрепанные избушки и их грязные обитатели, привозящие художникам в базарные дни молоко и яйца, – как будто вся эта близкая действительность стоит неизмеримо ниже местного таланта...

Только в последней, неудобно освещенной комнате я вдруг наткнулся на приятное исключение. Огромный экран, затянутый темным кретоном, был усеян клочками холста, картона и бумаги с эскизами Алымова. Тут были карандаши, blanc et noir[9], масляная краска. Все это жило и сверкало, было насквозь проникнуто каким-то своеобразным чутьем местного колорита и давало впечатление несомненного таланта, беспокойного и яркого, но целиком разрешавшегося в этих беглых, незаконченных, схваченных на лету и сторяча эскизах Поволжья. В одном месте волна набегаёт на длинную песчаную косу, в другом – занесенная песком, разошедшаяся лодка, далее – остов баржи, оставшейся на крутояре после весеннего ледохода, с кокорами, торчащими кверху, точно ребра какого-то чу-

довищного скелета... На многих клочках были нарисованы обломки досок или старое пнище, или просто лапоть, черневший пятном на сверкающей полоске песков... Порой – три полосы, в которых трудно было даже угадать рисунок реки и береговой дали. Но стоило отойти немного – и с холста начинало светиться небо, дышащее истомой, мгла начинала сгущаться в облако, и в далях чувствовался набирающийся дождь... И все эти пятна воды, ключья облаков, небесная синева, луговые дали, откосы, отмели, островки и заводи, разбросанные яркими лоскутками на темном фоне огромного экрана, производили не то манящее, не то беспокоящее впечатление, в душе набиралось какое-то сильное настроение, оставшееся неразрешенным... Несомненно было, с одной стороны, присутствие таланта, не лишённого искренности и проникнутого какой-то особенной правдой: в каждом самом мелком наброске чувствовалась именно волжская мель, волжский воздух, волжский лапоть, оброненный именно волжским бурлаком на волжском песке. Впрочем, среди видов реки и воды попадались и другие мотивы:

лесные перекрестки с чуть тронутыми вечерним солнцем верхами сосновых стволов; густые чащи с таинственным молчанием; на перекрестках – раскольничьи иконы со старыми ликами, с боковых дорожек выбегают тройки с седоками, возвращающимися из каких-нибудь лесных скитов. Разбитые ветром крыши степных уметов, телега в степи с приподнятыми над огоньком оглоблями, странник у монастырских ворот, с посохом в руках и с котомкой на согнутой спине, темная лента переселенческого обоза на прямой дороге, засыпающей где-то под дальнею тучею. Вечер, ворон над болотом, перевоз через узкую лесную речку, рыбак, склонившийся над той же речкой за ночною ловлей «на сеже». Но все-таки преобладали отмели, волны на излете, всасываемые прибрежным песком, обрывки дождевых облаков, несущихся над глинистыми ярами, «сторожевые бугры», которых так много на Волге, одинокие осокори, брошенные лодки, развешанные рыбацкие сети, искорки вечерних огней в неопределенном сумраке, землянки бакенщиков, и лапти, корзины, коряги, и опять корзины и лапти...

VI

— Вы мне скажете правду? – спросил вдруг Алымов после короткого молчания, во время которого я вспоминал все эти впечатления.

– Относительно?

– Ну, да... относительно моих работ.

– Отчего же. Мне показалось это очень интересным. Разумеется, интереснее всего, что было на выставке.

– Неужели, – засмеялся Алымов, – интереснее даже патера с мухой?

– Простите, я сказал банальную глупость. Ну, хорошо, я постараюсь выразить то, что чувствовал перед вашей витриной. Во-первых, все это очень ярко и правдиво, все настоящее, дышит и светит...

– Но?..

– Но... не закончено и разбросано. Как будто материал для ненаписанной картины... Все это напоминает как будто...

– Разбитое зеркало? – подсказал Алымов живо.

– Именно, – вырвалось у меня невольно.

– Именно, именно, – подхватил Алымов, приподымаясь на своем месте. – Знаете, это сравнение пришло мне в голову в первый же раз, как я увидел свои эскизы собранными вместе. До тех пор я набрасывал их в разное время, в разных местах, под различными настроениями, и сам не придавал им никакого значения. Иное писалось между прочим, иное – с намерениями, но все-таки так, «пока и в ожидании». Так и прошли года... наброски да наброски... А тут эта выставка... Отобрал я свои эскизы, нужно сказать, очень тщательно, только то, где действительно искренно отразился кусочек души. Устроил мне это все приятель, старый художник, а я даже вошел в зал уже вместе с публикой. И знаете, сначала даже не узнал своих работ... Бывает это: подойдешь к себе точно со стороны и смотришь, как на чужого. Таковую минуту я пережил в N-ской зале. Чорт возьми, думаю, ведь в самом деле все они правы. А уж в это время в N создавался некоторый шумный успех, присяжные ценители успели провозгласить меня своим областным Рафаэлем... Ведь и в самом деле, думаю, – светится все

это, точно окна какие-то прорезаны в темном кресте... Ну, а в общем... стало мне в ту минуту ужасно жаль чудака, который написал все это. Кажется, и все правда, будто на негативе. Нет, никакому негативу не передать такой правды. Скорее – зеркало, в котором отразились солнце и небо, и бегущая волна, и пролетающая птица, и проходящий странник... Отразились, да так и застыли, в движении и красках... Вы не находите, что я преувеличиваю?

– Нет, – именно это чувствовал и я...

– Да?.. то же и вы чувствовали? Так... ну, а дальше что же вы чувствовали?

– Вы скажете лучше сами...

– Ну, а дальше – тоска! Как будто все эти волны, и облака, и пятна хотят сойтись, слиться в одну картину, полную настоящей шири, света, воздуха, жизни, глубокого смысла... Но...

Г-н Алымов помолчал.

– Зеркало разбито, – сказал он таким голосом и с такой нотой, какой я даже не подозревал в этом веселом человеке. – Разбито и развешено по клочкам... и так грустно светит ку-

сочками своей яркости и веселья... Верно это?.. – спросил он как-то устало.

– Пожалуй, верно... Но...

– Нет, не пожалуй, а действительно верно. «Но» – хотите вы сказать – зеркало еще может собраться. Знаете, я ведь то же думаю! Что ж, в самом деле, – еще молод, все эти тучи, и волны, и странники еще ходят в душе... Ну, а иногда мне кажется, что так все и останется клочками... Кажется даже, что и всюду клочки... Вы беллетрист?

– Беллетрист.

– Роман написали?

– Романов не писал.

– Почему?

– Не знаю, право, – не задавал себе этого вопроса.

– Ну, врите, батюшка! Просто не хотите пускаться с пьяным Алымовым в откровенности. И чорт с вами, молчите себе... А уж я разболтался, так и стану продолжать, пока терпите. Да вот, подите, порой мне начинает казаться, что не один беспутный Алымов – разбитое зеркало, а все кругом, все наше поколение – такая же интересная коллекция. Боль-

шие клочки, маленькие клочки, клочки прозрачные, как воздух, клочки запыленные и перекошенные... Возьмите хотя вашу область – литературу: стоит посередине огромное великолепное трюмо старой, еще дореформенной работы, остальное... Впрочем, извините, может быть, я и совершенно не прав, – сказал он и опять засмеялся своим веселым смехом. – Только у меня своя теория на этот предмет. Нет устойчивой светотени... Представьте себе, что вы рисуете пейзаж в ветреный облачный день. Облака вверху плывут и плывут, свет и тени бегут по земле пятнами, появляются, исчезают, меняются сами, меняют все, что вы видите. Что еще за минуту резало глаз светлым пятном, то теперь спряталось в глубокой тени, тут появилось вдруг озеро, которого совсем не было видно, а где сейчас целое село играло на солнце, – нет ничего... Как вы станете рисовать?

– Рисуют, однако.

– Именно рисуют. Только что же для этого нужно? Нужно, чтобы вся эта светотень застыла, что ли, в душе, в мозгу, в памяти, в сердце, ну, чорт ее там знает где еще... Выра-

жаясь высокопарно, нужно, чтобы свое солнце светило в душе. Зажмурился – готово.

– Пожалуй, – сказал я, невольно улыбаясь.

– Да! Вот у нас долго светило крепостное солнце... Видели вы когда-нибудь рисунки Боклевского к «Мертвым душам»? Нет? Будете в N, посмотрите нарочно. Вот, батюшка, настоящий талант, никогда ничего больше не создавший, правда... но его карандаши – это, это... Ну, право, это равно Гоголю. И вот когда впервые мелькнула у меня моя теория... Посмотрите, – ведь не боялся человек шаржа: Петр Петрович Петух – ведь это настоящая тыква. Видали вы тыквы на бахчах в хорошее, постоянное жаркое лето: нальется так – целая гора. Вот, думалось мне, Петр Петрович Петух: этакие запасы жиру и характерности могли налиться только в долгое, устойчивое лето... Ну, и нагляделись на них при устойчивой погоде наши дореформенные мастера: тоже зажмурится – готово. Так целый огород и возникает сразу: и огромные тыквы, и огурцы, и баклажаны, и наливное яблочко, и малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, и даже репей, и лопух у забора – по

закону контраста. Представляете? Так все и режется: тыква – вот она, не спрячешь! Чертополох – вот его скоро выполнят... Все ясно, определено, все на своем месте, под ровным и определенным светом... Да если еще оторваться на время и посмотреть заграничные огороды, а потом опять вернуться к своему... да если еще скажут тебе, что это свое, родное скоро перепашут до подпочвы... Боже мой, с какой любовью все это врежется в памяти... Тыква, голубушка, скоро тебя не будет...

Он опять засмеялся и спросил:

– Вам понятно?

– По-моему, несколько парадоксально.

– Ну, все равно. Теперь представьте, что и там, в душе, тоже вдруг все вздрогнуло и понеслось. Так же вот, как в облачный день, – все изменчиво, так же несется что-то, перекрывает, меняет, обманывает... Что вчера казалось ослепительно сияющим, то сегодня стало тьмою, что вчера было самой мрачной тенью, – вдруг сегодня, если не совсем посветлело, то по крайней мере принимает приличные серые оттенки... Что тогда?

Я промолчал, не желая нарушать течения

его причудливой мысли.

– Остается, батюшка, ловить клочки. Разбитое зеркало. А ведь все наше поколение именно таково: дрогнуло что-то и несется, и летит. Туча не туча, облако не облако... Где-то будто гремит, а больше все-таки мгла какая-то... Несется, закрывает, открывает... Да вот вам: давно ли мы любили народ и верили в него, как сорок тысяч братьев любить и верить не могут. Точно двери какие-то открылись, повалил в них мужик и занял всю арену российского внимания; бурьян из-под заборов забрался на первые гряды. Куда ни повернись – всюду он, и притом в самом лучшем виде... Господи боже! Как мы его, голубчика, любили и как уважали. Где только ни встретим – привет и почет. Говори, голубчик, выскажись! И высказывался! Вон сидит у тракта в будочке «поскотник». Обязанность, можно сказать, самая ничтожная: сиди у ворот, Да глупых телят на улицу обратно загоняй, разве еще когда начальству поскотину отопри. А подойдите-ка к нему: философ глубочайший! Беспортошные, безоброшные – все философы. Порток не имеет, оброку не платит, а поучить

нас, бедных, может, потому что и в беспорядочности его смысл глубочайший. А уж про выставки и говорить нечего: по всем стенам в золоченых рамах все он был. И ведь не то чтобы какое-нибудь частное увлечение, кружок какой-нибудь. Все общество – сверху донизу обожало. Ретрограды и радикалы одинаково. Одни говорят: он умник, он мудрец, в нем наше спасение, он всю эту фантасмагорию устранил и прежнюю светотень опять наладит; ему ведь, милому, у забора, по его мудрости и смирению, – самое надлежащее место. Другие радостно суеются: погодите, вот он придет, и все станет совсем по-новому. Я лично из-за него на несколько лет краски и палитру бросил, не пошел в академию, метил в сельские учителя, и, наконец, чорт его знает по какой уж равнодействующей, попал в адвокаты.

– Вы адвокат? – удивился я.

Г-н Алымов расхохотался так звонко, что сосед счел необходимым трижды стукнуть кулаком в стену.

– А ведь в самом деле, это с нашей стороны свинство, – сказал Алымов. – Ну, хорошо, ста-

ну говорить тише. Да, батюшка, рекомендую: адвокат Казанского округа. Благосклонные ко мне поволжские газеты порой так и называют меня: известный адвокат-художник. Причем, как водится, адвокаты слово «известный» относят к художнику, художники – к адвокату... А бывает и так. Говорят: вон на песочке адвокат Алымов этюдики пишет, или: сегодня художник Алымов в суде бродягу защищает. И чорт его знает: сам я путаюсь, потому что действительно бродяга на скамье передо мною сидит и бродяга у меня на этюде... Тише, пожалуйста, тише: сосед опять недоволен... Да, так я к тому, что из-за него, меньшого брата, одно время я даже этюды бросил, перестал думать красками, да что! Ей-богу, политическую экономию изучал... К чему, думалось тогда, наше искусство? Вот он, младший-то, придет и все картины сразу поиному перепишет. Краски даже другие с собой принесет, видеть иначе научит: полнее и глубже! И куда ни посмотришь, все в этом уверены: в театрах, в музеях, в литературе, в поэзии, на выставках... Помню, как-то на пароходе по Волге случилось ехать. Пароходиш-

ко маленький, меж ближними пристанями шмыгает; на мостках, гляжу, компания: судебный следователь, исправник из бывших казанских студентов и уездный полицейский врач. Сидят за столиком, солнце их жарит, поют «Есть на Волге утес», слезами так и истекают... Ей-богу! Правда, выпито было изрядно, а все же, как хотите, замечательно! И было это, знаете, пониже Царицына, есть там этот знаменитый Стенькин утес:

*Из людей лишь один
На утесе том был...*

Понимаете, это уездный врач – тенорком, – и вдруг исправник октавой:

*На-а Ма-аскву своротить он ре-
ши-ишлся![10]*

– Ой, батюшки, не буду, – спохватился г. Алымов, оглядываясь на стенку, и, подвинувшись, продолжал:

– Ну, я, понимаете, человек свежий, только что сел на пароход, не успел еще приобщиться к их настроению, – и потому неволью приведен был в изумление. «Что вы это, говорю, господа, делаете, побойтесь бога. И утесиш-

ко-то, во-первых, самый ничтожный, а, во-вторых... Ну, вы только представьте себе: вдруг он-то оттуда в самом деле выползет. Ведь вы тогда меры обязаны принимать... Хлопот не оберетесь: не мертвым телом, неизвестно кому принадлежащим, пахнет». Так ведь как обиделись: стол опрокинули. Исправник в грудь себя вилкой тычет. «Молодой человек, – говорит, – вы, может быть, палла-гаете, что если на мне вот этот проклятый мундир, так уж я народа не люблю. Ашиба-е-тесь...» Насилу усмирил, и то лишь тогда, когда опять столик наладили, и я в свою очередь приобщился к настроению. Тут, конечно, все забыли. Судебный следователь, человек, трепетавший перед прокурором, но, в сущности, большая умница, объяснил мне на мировую, что и песня-то, говорят, прокурором написана и напечатана была в самом благонамереннейшем журнале[11]. «Мы, говорит, молодой человек, свои юные годы вспоминаем. А служебным действиям это ни в коем случае помешать не может». Смешно ведь, правда? А как вам кажется, кто был всех смешнее?

– Я думаю, исправник.

– Ошибаетесь – художник Алымов. Я, положим, над ними смеялся, а ведь если был человек, искренно веривший, что он, тот, кто из-за утеса, со своей мудростью российского Барбароссы[12], действительно может оттуда вылезти, – так это был именно я. Над исправником смеюсь, а сам на утес с замиранием по-сматриваю: выйди, голубчик, выйди, милый. И себя, понимаете, считаю уже сообщником, чуть не обладателем тайны, в душе зреет картина... Такая картинища, я вам скажу. Немного фантастическая, а, ей-богу, мне кажется порой, что стоит бурлаков...

– Какая, если можно спросить?

– Не знаю, сумею ли теперь рассказать... Кажется, так уж это давно было, и так вся эта светотень изменилась. Не хотелось бы смеяться над тем, над чем когда-то, право же, плакал... Ну, попробую, однако. Видели вы на моей выставке маленький такой этюдишко: «Утес – Два Брата»?

– Да, помню.

– Заметили? Помните там что-нибудь этакое... своеобразное, что ли?

– Позвольте: утес освещен последними лу-

чами, река внизу, уже в сумраке, по реке пароход бежит... два огня...

– Ну-ну?.. – насторожился Алымов.

– В отдалении, в ущельях мигают две деревеньки...

– Татинец и Слопинец. Именно, – это пониже Работок. Говорят, в старину было опаснейшее место. На утесе два брата-атамана, в Татинце – тати, ну, и Слопинец – от слова «слопать».

– Неужто есть такие деревни?

– Есть и не такие. Так вы заметили этот этюд. Да, искрится в нем это нечто, искрится. Помните, огни у парохода? Смотрят! Грозят! Дымище сзади тащится. Змей Горынич, не правда ли?.. А Татинец со Слопинцем мигают, бедные, так смиренно и жалостно.

– Это верно!

– То-то! И вы думаете, я это как-нибудь там подмалевывал тенденциозно? Уверяю вас, нет: прямо с натуры. Сел на одном обрыве, посмотрел вниз, на эту матушку-Волгу, – так вся душа и вспыхнула тоской и грустью... А пароходище ползет, дымит, глазами сверкает, купчина на нем едет... Луговой остров, подлец, у

Татинца со Слопинцем оттягал... Я же и процесс начинал, да потом товарищу более искусному отдал. Испугался купчины – силища! С простыми ходатями, а так орудует, – чистое дело, только мигни, проиграешь. Ну, зато уж в картину я все это вложил. Стала она у меня в душе расти и шириться. Всю Волгу исходил и изъездил, бугров этих сторожевых да берегов затуманенных набрал видимо-невидимо, в архивах копался, у лоцманов да у рыбаков обрывки преданий собирал, – и все так к своему месту ложится. Чувствую – растет! Светотень в душе установилась ровно: солнце вечернее по утесу скользит, река так вот и льется вниз, глубоко в сумраке, огни так и таращатся, дымище, как хвост, вьется, на отмели бурлаки, как мураши, стоят, смотрят, побросали лямки, баржонка прижалась к мели, – все уступает, все сторонится перед Змеем Горыничем. Понимаете – капитал совершает торжественное вступление на Волгу... Летит, свистит, распугивает свистом бурлацкие песни... А на утесе группа стоит, пятном в последних лучах так и режется... Удалые молодцы, мирские защитники, гроза крапивного семени,

носители таинственной политической мудрости российских барбаросс из-под Стенькиных утесов... Ах, вы представить не можете, сколько я в эти фигуры вложил любви, тоски, ожидания и страсти...

– Вы их написали? – спросил я с интересом.

– К чорту! – сердито ответил Алымов и засмеялся. – Обманул меня подлец-атаман, недаром Хлопушей называется.

– Хлопуша – ведь это пугачовец.

– Чорт его знает, может, и тот. Шатались ведь они, подлецы, повсюду, а может быть, и нарицательное: хлопать зря – значит лгать, хвастать... Впрочем, он ли один тут виноват, право, не знаю! В неделю картину не напишешь. Собирался, все приготовил, между тем в первой инстанции дело-то мы проиграли. Купчина принялся круто, на месте пошли недоразумения, ну, тут за мной немного не присмотрели, я впутался глупейшим образом. Вышла история, а купчине только и надо было: губернатор – человек энергичный... Потом товарищи едва-едва успели все-таки поправить дело, а я уехал на время в некоторые северные города.

– И это было? – спросил я.

– Было, – ответил Алымов, слегка как будто застыдившись. – Уж именно, что печальное недоразумение. Собственно, за темперамент. Положим, недоразумение рассеялось сравнительно благополучно, а все же залегла, полоска... Вернулся – и тот, да не тот, и застал уже не то.

– Что же, собственно, изменилось?

Алымов помолчал и вдруг опять спросил:

– Хотите тему для рассказа?

– Непрочь, хотя чужие темы вообще плохо годятся.

– Ну, я расскажу вам небольшой эпизод... Охотно уступлю вам, тем более, что у меня, пожалуй, ничего не выйдет.

– Постойте, да разве вы еще вдобавок и пишете?

– Пишу, – рассмеялся он, – впрочем, только в N-ском листочке. Видели такую газету?

– Не помню.

– Напрасно. Самая колоритная газета в России. Издается местным купцом – мучник из Царицына. Начинает всегда тропарем дня. Продолжение составляет акафист местному

начальству, конец – что-нибудь о патриотизме. Понять ничего невозможно, а читателей слеза прошибает.

– А вы тут что же?

– А я – что хотите: путевой набросок, что-нибудь по местной истории. Сливаюсь со средой – это всегдашняя моя мечта. «Бытовое» – это моя стихия. Недаром вот и вы признаете, что моя коряга – настоящая керженская, волжская. Знатоки признают даже тину, которой она затянута, а какой-нибудь лапоть возбуждает географические споры... Ну, вот и настоящий, местный бытовой редактор прельстил меня. Скоро, пожалуй, умрет старина, – исчезнет последняя оригинальная газета на Руси. Сын – из второго класса прогимназии, ходит уже в спинжаке и пишет светским стилем. Те же акафисты, но уже не шевелят сердца...

VII

— Вы говорили о теме.

— Да, как вам нравится заглавие «В ссоре с меньшим братом»? А мне кажется, что лучшего заглавия для современного рассказа не придумать. Охватывает все сверху донизу: и художника Алымова, и его приятеля мещанина Романыча, и правый, и левый фланги... Отовсюду теперь выгнали меньшого брата. Одни — потому, что оправдал их надежды, ну, и попал на конюшню! Другие — потому, что обманул ожидания. Не вышел своевременно на арену истории. Да, холодность теперь к нему необыкновенная... И драм на этой почве совершалось у нас, я вам скажу, без числа. Все только драмы какие-то незаметные, подпольные, что ли... Вот и сегодня, видели вы наш отчаянный абордаж. Это тоже последний акт такой же драмы. В лодочке сидят все исполнители: начиная с художника Алымова и кончая бедной Фленушкой, которая ни с кем, впрочем, не ссорилась; все имеем к меньшему брату более или менее серьезные иски... Недоумеваете, а между тем это так. Начнем с

меня: вы согласитесь, что пострадал и хотя отчасти из-за собственной глупости и темперамента, но все же частью и из-за меньшего брата...

– Он-то об этом не просил?

– А почему вы знаете? То-то что просил, а потом на попятный. А из-за этого обе мои карьеры – и адвокатская и художественная – временно приостановились. Далее-с... Я потерял невесту. Ну, тут, положим, влияние меньшего брата только косвенное, и от этой части иска отказываюсь. Я никогда не пользовался успехом у женщин. Кажется, я вам сказал, что не могу сегодня спать от погоды. Налгал: не сплю от ревности. Не смейтесь, пожалуйста, мне, право, не до смеха.

И, как бы в доказательство, в каюте зазвенел его заразительный хохот.

– Странный вы, право, человек, – сказал я.

– Да, странный. Веселый меланхолик, существо парадоксальное, пожалуй, уродливое. Мне, знаете, кажется иногда, что природа намеревалась вылепить меня самым веселым человеком в России, но по разным обстоятельствам я ей не удался. Вышел только эскиз

веселого человека, а внутри-то трещина. От этого меня так раздражают и такие парадоксальные вечера, как сегодняшней. У самого в душе с одной стороны светится что-то, а с другой – такой холодище ползет, брр... зуб на зуб не попадает... Однако возвращаюсь к теме. Женщины, как вам известно, не ценят эскизов. Мы иногда удивляемся пошлейшему выбору умной и развитой женщины. А секрет простой. Им хоть маленькое зеркальце подавай, пяточковое, да цельное... Эта мысль, с тех пор, как я ее понял, совершенно лишает меня бодрости...

– Мало вероятно, – сказал я, улыбаясь, – особенно если вспомнить про угловое окошечко.

– Ну, – сказал Алымов брезгливо. – Я не об этих лубочных эскизах любви говорю. Поймите: в моей душе живет стремление к цельности, к полной картине... Между тем, когда, отчасти тоже благодаря меньшому брату, выяснилось, что я в адвокатуре – художник, а в искусстве опять остановился на корзинах, – дело мое и расклеилось. Осталась одна надежда на будущую картину... С этой надеждой я и

жил там, где встретил Романыча...

– Это ваш мрачный приятель?

– Да, он.

– А он – цельное зеркало?

– Какое там! Тоже осколок. Но это человек особенный... Счастье за ним гонится само, потому что он от него убегает. Есть что-то удивительно привлекательное в отречении. Не знаю, как вы, а для меня, грешного художника и грешного человека, просто недурное лицо кажется неотразимо привлекательным в монашеском клобуке... Кстати, кто он по-вашему?

– То есть?

– То есть просто: какого звания человек?

– Кто его знает.

– Вот то-то. Даже я, знающий каждую щепку в этих местах, если бы встретил такую фигуру на Волге, – стал бы втупик. Ну, хоть какой народности?

– Похож на хохла.

– Замечательно! Все в один голос говорят это, а между тем он только жил одно время в К. Родом из Тулы, происхождением деревенский мужик, образования нигде не получил, а

между тем читал Куно Фишера[13], Спенсера [14] и Маркса и обо всем, о чем мы сейчас говорим с вами и еще будем говорить, во всей этой игре ума может легко принять участие на равных правах. Но... пишет плохо, с ошибками, и в конторщики, например, не годится.

– Что за парадоксы?

– Да, и вдобавок, сам мужик, а между тем совершенно не понимает мужика и даже говорить с ним понятно не умеет. Одним словом – тоже парадоксальный эскиз новейшего времени: настоящий представитель бродячей интеллигенции, вышедший из народа, странствующий в пустыне и взыскующий града. Представляете вы эту фигуру?

– Пожалуй, но как же это вышло?

– А вышло просто: родился в деревне, потом ребенком попал в К., где отец приписался в мещане. Потом отец умер, а мальчик попал в сидельцы какой-то мелкой лавочки. Жизнь эта для детей – известно, каторга. Подростком уже сошелся с каким-то студенческим кружком, мечтавшим о слиянии с народом. Они и повели его развитие так быстро, что он стал читать и понимать Спенсера, не успевши вы-

работать почерк. Вы понимаете, что для лавочного сидельца, сохранившего воспоминания о детстве в деревне, теории народнического кружка молодежи явились настоящим откровением, вернее – осуществлением мечты. Они, конечно, были уверены, что в его лице навстречу их теориям идет настоящий «опыт» человека из народа, а между тем – он-то и был самый мечтательный из всех этих молодых мечтателей... Ну, потом, разумеется, все оказались более или менее причастными к какому-то довольно фантастическому плану обновления, причем я сильно подозреваю, что самый план покоился в значительной степени на опыте «человека из народа». Ну, а затем... мы и встретились в северных городах... Я уже говорил вам, что прожил там недолго, но, право, крепко полюбил этих ребят. Народ горячий и нетерпеливый, но, в сущности, золотые сердца и даже недурные головы. Теперь легко смеяться над всем этим, но ведь они только делали выводы из посылок, признанных тогда всеми... Меня они тоже, кажется, любили, хотя при этом мне приходилось выносить изрядную дозу снисхож-

дения. Решили, в конце концов, что я свободный художник и, как сосланный за темперамент, имею право даже вести дружбу с начальством. А я, при моей склонности к бытовому, без этого не могу. И притом тоже ведь, по-своему, ребята попадались хорошие, а у одного квартального такая оказалась рожа типичная, что мой этюд обратил в свое время внимание и даже попал в коллекцию к Н. Только я тогда по разным обстоятельствам не подписал своей фамилии и пропустил случай прославиться.

– Но вы...

– Опять уклоняюсь. Да, так вот. Романыч показался мне самым интересным. Читал он страшную массу, можно сказать – ломил через всю эту премудрость, точно медведь сквозь чащу. Многое понимал своеобразно, но, в конце концов, понял все не хуже других, одолел даже до известной степени философскую терминологию. Пробелы, разумеется, остались у него огромные. Ну, да ведь и мы тоже все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Интереснее всего в нем все-таки было это изумительное упрямство. При мо-

ей слабости к бытовому я помирился с ним именно на этой черте. Я, признаться, не люблю оборотней, с вылинявшей природной окраской, и часто ловлю себя на некотором инстинктивном нерасположении ко многому «новому». Умом-то, пожалуй, и признаю и содействовать готов, а в сердце – копошится какое-то сожаление к уходящему с его определившимися, устоявшимися бытовыми формами. Не могу, например, подумать без некоторого щемящего сожаления о том, что скоро на Волге исчезнет последняя коноводка, а когда представлю себе, что и Волгу когда-нибудь схватят в каменные берега, скучно становится... Должно быть – консерватизм художественной натуры. Поэтому некоторое время с Романычем нас разъединяла какая-то взаимная антипатия. Вероятно, я казался ему слишком уж «тонким», а он мне – опустошенным и обезличенным, лишенным всякой непосредственности. Я, верно, чувствовал в нем «ненастоящего» мужика, а он был уже настолько ненастоящий, что его это сердило. Однако скоро я увидел, сколько еще осталось своего, мужицкого, в этом неуклюжем обломе, с та-

кой свежестью непочатого ума и с такой нерастраченной энергией ломившего через дебри науки... А главное, что меня к нему окончательно привязало, это то обстоятельство, что из всех этих фантазеров, мечтавших о полном слиянии с народом, он был самый мечтательный, самый фантастический...

Г-н Алымов задумался. Лица его я не видел, но мне казалось, что на этом лице должна была бродить улыбка.

– Все они или почти все были с сильной трещиной. Это тоже меня к ним привязывало, – эта черта русского интеллигентного человека по преимуществу. Вы понимаете, о чем я говорю?

– Не совсем.

– Кто-то, помнится – Гейне, выразил это очень красиво: мир дал трещину, и эта трещина пришлась мне как раз по сердцу...

– Как видно, – засмеялся я, – специально русскую черту выразил немецкий еврей...

Он тоже засмеялся.

– Правда! Ну, мне все-таки кажется, что мы это чувствуем яснее. Трещина эта отделила нас от нашего народа, а при отсутствии у нас

разных закрывающих ее исторических сооружений она зияет как-то разительнее. – Француз, немец, англичанин находят себе все-таки много утешений, ну, наконец, они хорошо строят мосты... А у нас нет всех этих украшений. Трещина сочится и беспокоит, а в молодости особенно. Помните, у того же Гейне: «Кто скажет, что у него сердце цельное, – у того дряблое, прозаическое сердчишко...» Ну, вот у них сердца были не дряблые, и они все копошились, как муравьи, чтобы найти путь через трещину к своему народу... Ах, черт возьми, как я их и теперь люблю за эту черту, хотя она стоила мне очень много... Вы не заснули от моей философии?

– Нет, пожалуйста, продолжайте.

– Теперь естественно возникает вопрос, – как быть с трещиной и чем ее заделать... Тогда это казалось близким и возможным. Одни полагали, что он, то есть мужичок, устроит это как-то сам. Он лучше знает. Другие махали рукой – все равно нам, негодьям, пропадать на этом берегу. Третьи, наиболее решительные, прыгали прямо туда, к меньшему брату, но все были согласны, что исцеление

именно в меньшем брате... У него все, – у нас одна гибель... Вы были когда-нибудь на Святом озере в Семеновском уезде?

– Не бывал.

– Интересно. Я был. Небольшое такое озерко, глубокое, чистое, как слеза. Кругом холмики, на холмиках деревья, часовенка стоит старенькая – и над всем витает чудная легенда. Народ уверен, что в озере и кругом озера стоит невидимый город, исчезнувший по молитве старцев перед нечестивыми полчищами Батя. Два раза в году по лесам и тропам из дальних мест, говорят, даже из Вологды и с Урала, пробираются туда сотни людей, «взыскающих града» в буквальной смысле этого слова: чистые сердцем, проведя сутки в посте и жаркой молитве, ложатся на берегу, и на закате солнца начинают для них берега озера зыблиться и колебаться, из глубины слышится звон, а кругом все – и толпа, и холмики, и деревья – все исчезает, и стоит на месте этой призрачной действительности фантастический город Китеж с церквями и монастырями. Я был на озере, видел эту верующую толпу, и среди нее два раза попадались мне

фигуры (оба раза это были женщины) с застывшим созерцанием в лица, со счастливыми слезами на глазах! Они – видели, понимаете, видели собственными глазами. Чаще всего, однако, слышал звон и бывал в граде взыскуемом полуслепой и совершенно глухой старец, живший в землянке на самом озере. Он мне все это рассказывал, во всех подробностях.

– Интересно.

– Еще бы! Любопытно, однако, что град этот построен в чисто историческом стиле: тут вот, говорит, монастыри, тут собор, тут ограда, тут боярские и купеческие хоромины стоят, тут мелкому мастеровому люду жильё, а вот там, говорит, подалее, крестьянские избы понастроены. А кресты, говорит, все о восьми концах. Великолепно, не правда ли? – спросил г-н Алымов со своим характерным смехом.

– К чему вы это вспомнили, однако?

– Видите ли, – вот, значит, меньшей брат как себе град взыскуемый представляет?

– Ну, это только тот, кто ходит по святым озерам.

– Ну, там как бы то ни было, а и мои приятели представляли себе будущее в этом роде. Может быть, несколько игнорировали бояр и купцов, а все внимание обращали на избы, – это правда. Но зато в пределах деревни – все точь в точь! В той сияющей перспективе, куда они устремляли свои взоры, виделась именно наша теперешняя деревня: та же улица, только пошире, те же избы, только из хороших бревен, те же крыши, – пожалуй, только тес вместо соломы (эх, и это жалко), ну, и тот же мужик в той же одежде, с той же иконописной бородой и с той же таинственной мудростью. Есть, конечно, и счастливейшие из интеллигентов, но они слились, исчезли, потонули в общей окраске... Правда, среди моих тогдашних приятелей мираж этот уже сильно дрогнул. Знаете, бывает это: день совершенно еще ясен, а уж чувствуется, что на все ровно и незаметно для глаза уже легла какая-то дымка. А там клоч тумана уже ясно осел в воздухе – и пошло нестись и меняться. А этот народ удивительно чуток. Право, очень жаль, что эта полоса жизни у нас оставалась как-то не изученной и не отраженной. Мне

иногда кажется, что все эти молодые люди были только птицами буревестниками, отмечавшими своими беспокойными движениями глубокие изменения общественных настроений. Теперь вот мы уже понимаем, что все это мираж, что трещина ушла еще очень далеко в будущее, в какую-то неведомую нам страну, в которой не осталось ни одной из наших бытовых форм. Это будущее не получит уже ни одного бревнушка из современной деревни и не увидит ни одной черты из теперешней беспортошной таинственной мудрости. Теперь, когда я вижу пиджак в деревне, я говорю себе: вот шаг к будущему. Не смейтесь, это именно так. Ведь теперь у нас даже в среде великороссийского племени по меньшей мере четыре нации, отличающиеся и по языку, отчасти, и по верованиям, значительно сильнее, и по одежде (совершенно)! Ну, а в будущем, конечно, это исчезает, и в конце трещины стоит незнакомец, всего вероятнее, в немецком пиджаке, которого, впрочем, чорт его побери, я никак не могу себе представить вполне ясно и к которому, грешный человек, никакого христианского чувства не питаю.

– Правильно ли это, г-н Алымов?

– Разумеется, неправильно, – захохотал он. – В свое время и с него, вероятно, будут писать этюды. Но что хотите, я люблю свою натуру теперешней: потому что она уже мне выросла в душу. Помните у Лермонтова: «Люблю я родину, но странною любовью... Люблю дымок спаленной нивы... дрожащие огни убогих деревень»[15]. Ведь, в сущности, убожество-то любить, пожалуй, и не похвально. А что станете делать. Когда-нибудь, может быть, их за это и в самом деле не похвалят: им, по их варварским понятиям, скажут, расстрепанные крыши нравились лучше железных. Ну, а у меня сердце бьется при виде расстрепанной крыши и слепого окна, а на железную крышу и не глядел бы. На этом-то вот мы с Романычем сошлись вплотную. Среди остальных начиналось смятение и споры: субъект в пиджаке и железная крыша уже выступали из тумана будущего и возбуждали значительную тревогу. Многие отступали более или менее спешно, отдавая в жертву незнакомцу – кто общину, кто артель, кто еще разный багаж в этом роде. Были и такие,

что уже провидели реабилитацию «кулака», как неизбежного и даже прогрессивного элемента. Только мы с Романычем не сдавались... Однако знаете что? Ведь это я вам начинаю целую историю. Вы, кажется, одеты?

– Да, я и не раздевался.

– Ну, вот что. Если вам не спится и охота, пойдем на палубу. У меня угар из головы вышел, и мне совестно перед соседом.

Я охотно согласился, и мы вышли.

VIII

Мы вышли в зал, почти совершенно темный. Одна лампочка освещала скучным светом ближайшие предметы: часть стола с белой скатертью, горку с бутылками, несколько апельсинов в стеклянной вазе. Далее только слабые искорки на гранях стекла обозначали перспективу темного зала, казавшегося как-то фантастически длинным. В конце совершенно черные окна изредка освещались снаружи слабыми вспышками зарниц... Откуда-то из глубины парохода неся стук машины, ровный и глухой, точно биение пульса у спящего... В такт этому стуку жалобно отзывалась какая-то стеклянная подвеска.

– Не хотите ли пройти по нижней палубе? – спросил Алымов. – Вы увидите – это интересно.

Мы спустились по лесенке и открыли дверь на палубу. Она была сильно загружена. Тюки, обшитые рогожами, бунты шкур, издававших неприятный запах, корзины, коробка, ящики, мебель, коляски... Все это фантастическое собрание разнообразнейших предметов,

наваленных в беспорядке и как будто удивленных своим случайным соседством, слабо освещалось кое-где висевшими лампочками. Между тюками, на лавках и на полу лежали пассажиры, женщины с грудными детьми, мужики в овчинных тулупах, несмотря на лето. Густое сопение и храп носились среди полутьмы, примешиваясь к плеску воды и стуку машины.

На одной из лавок, на грязной подушке спал наш знакомый, синюхинский певец. Его некрасивое, зловещее лицо налилось кровью, губы были искривлены, из горла вырывалось неровное, прерывистое хрипение.

Алымов остановился над спящим с видом холодного любопытства.

– Дедушка душит, – сказал он мне, указывая на синюхинца. – Субъект это, я вам скажу, интереснейший. Кулак, начетчик, признает только старинную книгу, поет только старинную песню, держит в руках всю Синюху и замучил двух жен. Теперь вот на него насел домовой; небольшой старикашка, с длинной бородой и в тулупе навыворот, измельчавшее отродие какого-нибудь грозного божества, ко-

торому его предки когда-то приносили умиловительные жертвы.

Спящий тяжело перевел дух, сел на лавку и некоторое время безжизненными глазами озирался вокруг. Что-то вроде ужаса изобразилось в них, когда он увидел над собой фигуру Алымова. Впрочем, сон не вполне выпустил его из своих рук; он повел глазами, попытался перекреститься и опять повалился на подушку.

– Пойдемте, – сказал Алымов. – Завтра он припомнит это мгновение, и если у него затоскует утроба, он будет уверен, что мы, два полуночника, приходили нарочно, чтобы его испортить. Знаете, мне вот приходит в голову: что, если бы все сонные грезы, которыми полны теперь эти истомленные мужицкие головы, можно было облечь в видимые формы... Господи боже! Каким удивительным сборищем наполнилось бы пространство между палубой и потолком парохода. Ведь если этот синюхинец живет чувствами Никиты Пустосвята, то вот те – плотовщики, возвращающиеся на свою Унжу или Ветлугу, – прямо вышли из дебрей пятнадцатого века. К

ним в лесные тущобы и теперь еще прилетают огненные змии.

Шагая через ноги в лаптях и туловища в посконных рубахах, мы прошли мимо машинного отделения, зиявшего отблесками огня и наполненного диким движением стали. За ним на корме было что-то вроде правильно устроенных в два этажа лавок, где пассажиры разместились с некоторым удобством. У одного из таких отделений Алымов резко остановился. Я увидел здесь обоих его спутников. Суровый человек в шведской куртке спал в углу, прислонясь головой к деревянной стене, в самой неудобной позе. Было видно, что он долго охранял сон прислонившейся к его плечу девушки и заснул сам, не смея пошевелиться.

Алымов постоял несколько мгновений, с некоторой нежностью глядя на успокоившееся лицо девушки, и пошел дальше.

На самой верхней площадке нас обдало тихим ночным ветром. Должно быть, заря была недалеко, по крайней мере на одной стороне неба, в поредевших облаках, бродили уже слабые просветы. Зато набиравшаяся с вечера

громовая туча вся перевалила за Волгу и стояла за Жигулями вся черная, изредка вспыхивая синими зарницами.

Алымов прошелся взад и вперед, вдыхая свежий ночной воздух и разминаясь. Он подошел к рубке и что-то спросил у лоцмана.

– Вон, в конце плеса, – ответил тот. Алымов подошел ко мне.

– Посмотрите, вон Хлопков бугор. Именно здесь моя картина, как я говорил вам, разлетелась вдребезги.

Нос парохода все клонился вправо, и перед нами – черная и грузная – выростала большая гора, между тем как темная туча, лежавшая за нею, казалось, быстро опускалась книзу... Чуткое эхо торопливо отдавало шум паровых колес, но когда мы подошли еще ближе, нам был ясно слышен тревожный шорох деревьев. Над нами висела лысая вершина, с которой открывались оба плеса... К таким именно горам народные Предания любят приурочивать станы волжских атаманов. – Здесь вот жил мой Хлопушка. Видите, вон чуть заметно вьется трава, лес тут пониже. Я был на вершине. Какие-то ямы еще до сих пор сохранились.

Видно, – было тут в старину какое-то становище, или уже после кладоискатели ископали. Очень меня соблазняли для картины «Два брата», но и это местечко тоже хорошо. А главное, подлинность, дух, так сказать, витает. Стою, бывало, на вершине этой и проникаюсь... Ну, когда вернулся опять на Волгу, сейчас, разумеется, к этим местам. Шатался, то пешком, то в легкой лодке, два раза меня меньшей брат, как человека подозрительного, в станovou квартиру представлял... Подлая это тоже черта у меньшого брата, чуть не понял какого-нибудь человека, сейчас волокет к попечительному начальству. Разумеется, тотчас же отпускали с извинениями: «Ах, эти невежи, это они г-на Алымова на веревочке привели. Извините, пожалуйста. Как же, читали в «Листке»...» Ну, во время одного из таких приключений схватил какую-то гадость. Сел на пароход в Ставрополе вечером; думаю, отлично – наутро буду в Морщихе, там лодочников найму, подымусь к бугру... А самого знобит, и на душе такая тоска лежит, – туча! Ничего, думаю: вот картину начну, и вся эта светотень опять наладится. Не подо-

зреваю, что уж в душе не то солнце светит, и светотени прежней следа не осталось... Еще там, в северных городах, это началось.

Вот плыву по Волге, ночь такая же точь в точь, темная, густая, томительная. Жигули точно потонули в чернилах. Зарница вспыхнет, осветит мертвым светом ущелья и горы и опять погаснет... Грустно необыкновенно. В душе ползет что-то, тянет, щемит, не дает покоя. Прошлое затягивает свою песню, будущее темно, и пустота какая-то в глубине... Ехал тут со мной купец царицынский, дубина ростом в сажень, сила непомерная и столь же непомерная непосредственность. И разразить готов, и обнять согласен, и слезу прольет бог весть о чем, и физиономию ближнему тоже, здорово живешь, испортит. Видит, кручина у человека, – выпьем да выпьем. Попробовал я, – нет, только еще хуже. Ушел на палубу, скрылся от него на самый нос, сижу в темноте. Вдруг будто меня толкнуло. Зарница вспыхнула, смотрю – место знакомое: лысый бугор, тропочка, лодочка внизу стоит. Ну, вот тут... объясняйте, как хотите... потерянное равновесие, начинавшаяся болезнь, Цари-

цынский купец, бенедиктинский ликер... Только все это я видел, как вот вас вижу... Просто стыдно рассказывать.

– Однако.

– Да что! Вспыхнула одна зарница – вижу, стоит вся моя группа на самой вершине... Темная вся, мрачная... Осветило ее и погасло. А пароход так и мчится к горе. Помню, хотел капитану крикнуть, чтобы повернул, а уж гора вплоть над головой, вот как теперь. И там вот, на песочке, вижу, суетится кто-то с лодочкой... Режется лодочка по волнам, еще минута, стоит передо мной, как лист перед травой, атаман и те. «Ну, что ж, говорит, паренек! Пиши, что ли, атамана Хлопушу... Я самый».

– Что же, – сказал я, смеясь. – Для художника и не нужно лучшего случая. Вы могли разглядеть вашу натуру очень близко.

– То-то вот и есть! Посмотрел я на него и просто плюнул. Харя грубая, сапожки на нем сафьяновые, рубаха шелковая, опоясана по-выше брюха, на голове казацкая шапка набекрень, и подковки кудрей из-за шапки лезут. Сила, положим, есть, зарезать готов во всякое время, но мне-то, художнику Алымову, она со-

всем не сродни... Красота тоже, может быть, есть, – опять не моя... «Ты, говорю, подлец, теперь в Лыскове за стойкой стоишь, да бурлаков сивухой спаиваешь...» И пошел тут у нас диалог. Капитан после рассказывал: «Удивлялись, говорит, с лоцманами. Сидит барин Алымов на корме, лопочет что-то, руками машет». А это я все Хлопушу отчитывал... «Понимаешь ли ты, скверней, что весь ты не стоишь моей художественной поэзии... Ведь меня бы, говорю, за тебя, дурака, во всех газетах превознесли, за границу бы тебя повез... Ведь мой вымысел дороже всей твоей дурацкой вагаги...» А он, подлец, стоит, ухмыляется, и с каждым взглядом на эту несуразную фигуру прежние мои представления улетают одно за другим, как вспугнутые птицы... Дальше уж и не помню. Помню какая-то свалка. Царицынский купец после жаловался: «Я, говорит, его, как доброго человека, в буфет зову, а он меня ка-ак схватит об это место. Звезды из глаз посыпались...» В Самаре прямо в больницу сдали. Горячка!

– Позвольте, однако, – сказал я. – Все это совершенно понятно. Но каким образом болез-

ненный бред мог помешать вам дописать картину, когда вы выздоровели?

– Бред... – сказал он задумчиво. – Нет, я вот и до сих пор от него не могу отделаться... Вы говорите, когда выздоровел! Ну, и я так же думал. Вернулся домой, растянул большое полотно, осветил, поставил этюды... Думаю, будет уж эскизы собирать, вот у меня все тут: и краски и формы. С этого эскиза – фигура, с этого – другая, а с третьего – светотень. Вот он утес, вот река, вот пароходище... А потом постоял, постоял перед полотном и спрашиваю себя: «Хорошо, друг мой, художник-Алымов. А правда где же? Правда-то, пожалуй, там осталась, в этой ночной галлюцинации... Ведь в самом деле, твои мирские заступники – только стихия... Били, как гром: в дерево, так в дерево, в хижину, так в хижину, в хоромы, так в хоромы. В хоромы чаще, потому что хоромы выше, а случалось – и с мужика шкуру спустили да солью посыпали. Постой, Алымов, надо с этим делом разобраться. Дай почитаем получше историю». Стал читать, боже мой – какой мрак! Стеньки, эти, Булавины, Пугачевы... Ни малейшего проблеска творческой

идеи, стихия – и только... И чем больше изучаю, тем больше вся светотень в душе меняется. Отчаяние меня просто взяло. Подойду к полотну, стану краски класть. Нет, не то... Вы знаете, что значит с этюда картину писать? Ведь это нужно опять все возобновить в душе, нужно, чтобы вся эта гамма опять заиграла. Ну, а для меня уж это кончено, überwundener Standpunkt[16], все стало иное. Смотрю на пароход и думаю: а ведь это культура на подлеще – Хлопушу идет. Смотрю на бурлаков – надо же было когда-нибудь прекратить это безобразие. На Хлопушу взгляну – так шельмецу и надо. Не крикнешь теперь «сарынь на кичку!» Одним словом, все по-иному вижу... А по-иному – значит, и начинать надо сызнава... Опять этюды, опять осколки, а зеркало все-таки... разбито!

Мы помолчали... Пароход давно обогнул мыс, и Хлопков бугор затянулся густою мглой. В воздухе заметно светлело.

– Метался я после этого довольно долго. Бродил по Волге, смотрел и слушал, рисовал и записывал, в архивах рылся... Все хотелось этот образ восстановить. Не Хлопушу, разуме-

ется, чорт с ним. А тот, другой, великий образ, который мы все-таки любили. Нет! Мелькают какие-то черты и тотчас исчезают. А между тем и кругом уже эта тревога становится заметнее: ссора с меньшим братом все разгоралась... Арена пустела, пустела, да так и остается пустой... Иногда мне кажется, что и будет она пустой до тех пор, пока так или иначе мы вновь не определим своих отношений к меньшему брату на каких-нибудь твердых основаниях... Ну, да ведь это еще долго?

Он резко поднялся и стал ходить по палубе, изредка подходя к лоцманам. Он задавал им какие-то вопросы, но порой отходил, не получая ответа. Вообще было видно, что его что-то беспокоит и раздражает. Наконец он опять замурлыкал свою песню:

В той ли лодочке, как лебедушка...

Потом сел, опустил голову, надвинул шляпу, и на некоторое время у нас на палубе воцарилось полное молчание...

IX

Сонный капитан вдруг привстал в рубке, и свисток, гулкий и как будто охрипший за ночь, прокатился над Волгой. Назади его лениво повторило эхо Жигулей, но впереди виднелся уже широкий разлив; с одной стороны, освободившийся от гор над низким темным крутояром, стоял звездочкой фонарь на рейке, над пристанью, а другой огонек покачивался внизу, как маятник. Пароход поворачивал к Ставрополю. Впрочем, город от реки далеко, и одинокая пристань ютилась под пустынным обрывом. На берегу стояли две тройки. Поджарые лошади рисовались странными силуэтами на темном еще небе... По мосткам сошли только двое пассажиров. Это был человек в шведской куртке и его спутница, севшие на пароход вместе с Алымовым. Алымов подошел к перилам и крикнул:

– До свиданья, господа.

Оба оглянулись. Человек в шведской куртке кивнул головой, девушка поклонилась приветливо и радушно. Еще через минуту мостки сняли, в темную воду шлепнулась тя-

желая чалка, и пароход отделился от пристани. Скоро самая пристань исчезла в темноте, только некоторое время доносилось треньканье колокольчика. Вдоль берега трусила одинокая тройка...

– Это ваши знакомые? – спросил я у Алымова, задумчиво вглядывавшегося в темноту.

– Да, знакомые, – ответил он. – И тоже имеют к меньшому брату немалые иски. Вы помните деревушку, мимо которой мы прошли ночью?

– Морщиха?

– Да, Морщиха. Он прожил там три года, все стараясь перетащить ее из семнадцатого столетия в двадцатое. Ну, а вот теперь и его картина разлетелась вдребезги. Эту историю я вам теперь рассказывать не стану, поздно. Может быть, когда-нибудь сам опишу ее в «Нском Листке», если пропустит губернская цензура. Да, впрочем, вы легко себе это представите... Одно знаю наверное: в душе у этого человека такая в настоящую минуту вражда к меньшому брату, – просто буря!

– Вольно же, – сказал я, – строить воздушные замки.

Алымов резко повернулся.

– Да, воздушные замки. Правда! Он хотел для начала завести общественную потребительную лавку, а она – школу. И решили, когда эти две ступеньки будущего рая в Жигулях осуществятся, – они устроят и свое гнездо, слившись с морщихинским народом. Смешно? Положим. А почему, позвольте спросить, мне не строить воздушных замков, если я это делаю на собственный счет и страх и из собственного материала? В праве ли кто бы то ни было притти и разрушить мои замки только потому, что я не хожу в баню, как все, по субботам, и жить хочу на свой лад?

– Конечно.

– То-то, конечно! А семнадцатое столетие этого не понимает. Умиляться за это перед ним?

Г-н Алымов был, видимо, не в духе.

Над Волгой занималось утро, мглистое и туманное. Над самой рекой стлался тонкий пар, под которым шевелились волны, белые, как молоко. Несколько уток, испугнутых шумом колес, потянулись низко, оставляя длинный след, как будто они прилипли к воде или

запутались крыльями в туманной паутине. Несколько ворон грузно пронеслись в вышине и исчезли назад, направляясь к оставленным нами Жигулевским горам. Алымов лениво проводил их потускневшими глазами.

Вдруг из-за дальнего облака, сзади, упали первые лучи, расцвечивая туман, и воду, и выступы берега. Казалось, от них пар сразу заколебался, река ожила, и даже шум парохода стал бодрее и сознательнее.

– Как хорошо, – сказал Алымов, потягиваясь, и лицо его опять оживилось улыбкой. – Как хорошо! И что еще нужно? Нет, конечно!

– Что именно?

– Все эти сложные истории... Выселяю из души меньшого брата. Не платит за постой! Что в самом деле, я дворянин и художник... Адвокатуру тоже по боку: в гражданских делах – грязь, да и не смыслю; уголовные – баблство и притом мешают чистоте впечатлений... Полный переворот в жизни. Раскрою глаза и душу навстречу одним нейтральным впечатлениям. Ах, как хорошо! Спокойствие, благодать! Светит солнце, блещет река, горы в дымке, барочка качается, даль широкая,

красивая, свободная, чайка над водой вьется, крылом задевает... И я та же чайка. Летаю себе, без заботы... Вечное, чистое, святое искусство! Художник Алымов раскрывает тебе встречу свои объятия. Вы, кажется, смеетесь?

– Нет, мне показалось, что смеялись вы.

– Нисколько! Только так и можно что-нибудь сделать. За пейзаж возьмусь, каждый год у передвижников стану выставлять по десятку картин. Они, кажется, тоже от меньшого брата уже избавились. Человек – только украшение природы. Красивое пятно на превосходном фоне. Что мне, наконец, до него за дело? Хорош он, дурен, мудрец, кретин, идиот, подвижник... Ну, и отлично. А солнце-то одинаково на нем свои блики кладет... Вы не согласны?

– Да нет же, сделайте одолжение.

– Да-с! Будет! Исцелиться хочу, уродство из себя выгнать... Песня, давайте мне звуки, положил на ноты, гармонию уловил, – спокоен! Увидел розовый закат, – на полотно! Пожалуйте дальше. Баба на коленях стоит, плачет и молится... Какими мускулами пользуется для выражения экстаза? Больше ничего знать

не хочу! Что там такое с ней, кому молится, о чем, дойдет ли молитва, или не по адресу направлена, может быть, по невежеству к святой Пятнице обращается? Не мое дело! Я художник и столбовой дворянин, Ксенофонт Ильич Алымов. Возвращаюсь в свою среду и отдаюсь свободному влечению художественной природы. Конец романтизму... Красоту мне нужно и ничего более... Что вы говорите?

– Ничего.

– А думаете?

– Я думаю, что у вас именно это и выйдет тенденциозно...

Алымов резко отвернулся.

– Пора спать, – сказал он сердито.

Сходя вниз, я на мгновение остановился на площадке. Солнце гнало туман, и назади, точно вырезанный, стоял последний из Жигулей, Сторожевой бугор, смело отбежавший от остальной стаи.

Капитан тоже уходил с ночного дежурства и крестился на поднимающееся над Жигулями солнце.

Х

Поднявшись часа через три, я не увидел Алымова в каюте. Оказалось, что он, бледный, с застывшим лицом, сидел на верхней площадке со своим походным ящиком. Перед ним на боковом мостике, в мундире с медными пуговицами, в фуражке с галунами, в ослепительно белой манишке и с рупором в руке стоял капитан, позировавший для обещанного портрета. На его полном, лоснящемся лице застыло выражение торжественной неподвижности. В будке дежурил молодой помощник. Лоцмана не глядели на своего начальника и, по-видимому, молчаливо порицали его тщеславие.

Через некоторое время лицо капитана побавровело, в глазах проглядывало характерное выражение мучительной неподвижности.

Алымов спокойно взглядывал на него, брал с палитры краску, и лицо на его полотне тоже бавровело. Потом он пробегал по всему полю картины, и на ней то вспыхивали пуговицы, то проступала складка, то начинал

сверкать золоченый рупор. Затем тяжелый взгляд Алымова опять останавливался на лице бедной жертвы, которое к этому времени багровело еще больше. Сходство было поразительное, – но казалось, что еще немного, и с моделью случится удар.

– Вы, кажется, начинаете осуществлять свою вчерашнюю программу, – сказал я, улыбнувшись.

Алымов очнулся и застыдился.

– Благодарю вас, Степан Евстигнеевич, – сказал он, – дома я dokonчу и пришлю вам.

– Можно взглянуть? – радостно спросил освобожденный капитан.

– Нет, после, – ответил Алымов, укладывая этюд в ящик и уходя вниз. Через несколько минут из люка показалась ночная незнакомка, а за нею, с оживленной улыбкой, с какой-то шуткой, только что сорвавшейся с губ, опять вышел Алымов. Он держал себя как старый знакомый, только возобновляющий давнюю фамильярность. Дама принимала это с той свободой, какая дается пароходными условиями среди встречных людей, до которых нет дела.

Между ними завязывалась какая-то искрящаяся перестрелка, и «эскиз мимолетной любви» набрасывался, по-видимому, бойкими, уверенными штрихами.

Впереди показался караван барок. Высокие, стройные, вытянувшиеся в линию мачты покачивались в синем небе, барки быстро сплывали навстречу.

– Это караван Чернобаева? – спросил Алымов у капитана.

– Его.

– Крикните, пожалуйста, лодку.

– Уходите?

– Да. Мне тут нужно Селиверстова, водолива.

Пароход задержали, вызвали лодку, и через несколько минут светлая шляпа Алымова виднелась на барке, а матросы подавали ему его ящички. Вскоре барки скрылись из виду, увозя моего беспокойного соседа.

– Что за странный человек! – говорила красивая дама, прохаживаясь теперь под руку со стройным седым господином в судейской форме.

– Да, странный. Адвокат и художник.

– Хороший?

– Как вам сказать? Мы, прокуроры, его боимся. В нем есть какая-то особенная непосредственность, действующая на присяжных. Впрочем, в нашем мире он считается дилетантом. Его картин я не видел, но они пользуются некоторой известностью. Его портреты иногда, говорят, превосходны.

В рубке тоже говорили об Алымове.

– Всегда так – появится нивесть откуда и вдруг пропадет, – сказал молодой помощник.

– Какого только народу нет у белого царя, – прибавил с своей стороны лоцман, но тотчас же оба насторожились.

За поворотом мы увидели неожиданно вчерашнего соперника – «Коршуна». В Ставрополь он пришел раньше, но там, видимо, перегрузился и теперь шел тяжело, точно под ним была не вода, а патока.

– Ишь, насосался, – радостно сказал помощник и, нагнувшись к трубе, скомандовал:

– Прибавь!

«Стрела» дрогнула. Опять начиналась вчерашняя гонка, и все, что я видел и слышал ночью, казалось мне теперь странным сном.

ХІ

Прошло несколько лет. Мне часто приходилось вспоминать господина Алымова, так как то, что он называл «ссорой с меньшим братом», продолжалось. Прошел «голодный год» с беспримерными толками о коварстве и развращении народа. Прошла холера с дикими стихийными вспышками – и доставила старшему брату, поспешившему с помощью и страданием, еще несколько весьма основательных поводов для «иска» к младшему... «Областная полуизвестность Алымова», как ее называл он сам, за это время все росла. У передвижников он выставлялся, положим, редко, но говорили, что адвокатуру бросил. Затем его имя то и дело появлялось на страницах газет, – и с этим именем связывалось представление о человеке беспокойном и беспокоящем. Наконец судьба опять столкнула меня с ним – и опять случайно.

Сильные дожди задержали меня к ночи на одной из волжских пристаней. Мне нужно было на станцию железной дороги, но говорили, что ливнями снесло мосты и размыло

проселки. Пришлось поневоле ночевать.

Вечер был теплый, и хотя дождь, не переставая, поливал темную реку, барабанил по крыше, но на пристани окна были открыты. В одно из них несся густой гул голосов. Там была компания, возвращавшаяся со съезда, и разговор шел об одном громком деле, сильно занимавшем общественное мнение, По-видимому, все были согласны, оппонировал только один голос, что-то мне смутно напоминавший.

– Вспомните холеру! – кричали одни.

– Вспомните убийство колдунов!

– Знаем мы вашего меньшого брата.

– Бросьте, господа, давайте в карты!

Хлопнула дверь, кто-то вышел из общей каюты и прошел несколько раз мимо моего окна, под навесом пристани, а затем уселся на скамье, вероятно, любуясь величавой картиной дождя на широкой темной реке. Через некоторое время из темноты до меня донесся знакомый мотив. Мне сразу вспомнилась «Стрела» и ночь в Жигулях.

– Ксенофонт Ильич, – окликнул я, высовываясь в окно. Он вздрогнул и поднялся.

– Почему вы меня узнали? Я вас не могу узнать в темноте, – спросил он.

– По вашей песне.

– А! не правда ли чудесная песня! Жемчужина, – говорил он, входя в комнату. – И главное, кажется, подлинная: еще в двадцатых годах пели балахнинские солевары. А, вот это кто! Помню, помню. «Стрела», Жигули, капитан Евстигнейч и ночной разговор?

Он весело засмеялся знакомым мне смехом.

– Вы опять о чем-то спорили?

– А все об этом известном деле... Чорт знает, как легко верят теперь всякой нелепости, если она касается мужика. В прежние времена вся печать поднялась бы на защиту... А теперь!.. Мы забываем даже о простой юридической справедливости. А вот собирались написать картины.

– Да, кстати, как ваши картины?

– Теперь – напишу, непременно. Вот только с этим проклятым процессом разделаюсь... Вот вы увидите, вот увидите. Однако постойте, кажется, пароход...

Действительно, по темной реке надвига-

лась на пристань кучка огней, и гулкий свист огласил воздух.

– Напишу, непременно, – кричал мне Алымов через пять минут, махая шляпой с галереи отвалившего парохода. – Вот только с этим делом... Такая картина, я вам скажу!..

Пароход тихо отвалил от пристани.

1896

Примечания

Короленко начал писать рассказ в середине 90-х годов, закончил его в 1896 году. Рассказ был сдан в журнал «Русское богатство», уже набран там, но затем автор взял его обратно. Короленко очень напряженно работал над этим рассказом – в архиве писателя имеется до пятнадцати различных вариантов и отрывков к нему, – но все же даже окончательным текстом остался, очевидно, неудовлетворенным. Один из вариантов имеет подзаголовок «В ссоре с меньшим братом». Проблема взаимоотношений интеллигенции с «меньшим братом», с народом, занимающая в рассказе не малое место, чрезвычайно интересовала Короленко.

При жизни писателя рассказ не публиковался. Впервые он напечатан в XV томе посмертного собрания сочинений В. Г. Короленко (Госиздат Украины. 1923 г.).

Примечания

1

Легость – веревка, бросаема́я с судна́ для подъема́ на ней снастей, такелажа.

[^^^]

Казенка – отдельная жилая рубка на речном судне, используемая для надобностей команды.

[^^^]

Косяк – скат каната.

[^^^]

Песня подлинная; записана в Балахнинском уезде в 20-х годах и напечатана в «Нижегор. губ. ведомостях» (1887, № 22).

[^^^]

Спасибо, господин Алымов. *(Ред.)*.

[^^^]

6

К тебе я буду прилетать,
Гостить я стану до денницы —

у Лермонтова в XV строфе I части поэмы «ДЕ-
МОН»

*К тебе я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы.*

[^^^]

Довольно с нас купцов, кадетов...

и т. д. – у Некрасова в стихотворении «Поэт и гражданин»

*Ах! будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан!*

[^^^]

Старая сказка. (Ред.).

[^^^]

Белое и черное. (Ред.).

[^^^]

«*Есть на Волге утес*» – первая строка песни А. А. Навроцкого (1839–1914) «Утес Стеньки Разина». Строка «*На Москву своротит он решился*» неточная: в песне – «И идти на Москву он решился». Музыка к песне первоначально была написана А. Рашевской, а позднее, в 1896 году, самим Навроцким.

[^^^]

«Русская Речь», если не ошибаюсь, в конце 70-х годов.

[^^^]

...с мудростью российского Барбароссы. – Фридрих I Барбаросса (1123–1190) был известен своей борьбой против феодальной раздробленности Германии. В 1155 году был коронован как император Священной римской империи.

[^^^]

Куно Фишер (1824–1907) – немецкий философ, гегельянец, автор «Истории Новой философии», переведенной на русский язык.

[^^^]

Спенсер Герберт (1820–1903) – английский ученый, социолог и биолог, автор идеалистической эволюционной теории общественного развития.

[^^^]

*«Люблю я родину, но странною любовью...
Люблю дымок спаленной нивы...»* – у М. Ю.
Лермонтова соответствующие строки в стихо-
творении «Родина» звучат так: «Люблю от-
чизну я, но странною любовью!.. Люблю ды-
мок спаленной жниввы...»

[^^^]

Пройденный этап.

[^^^]